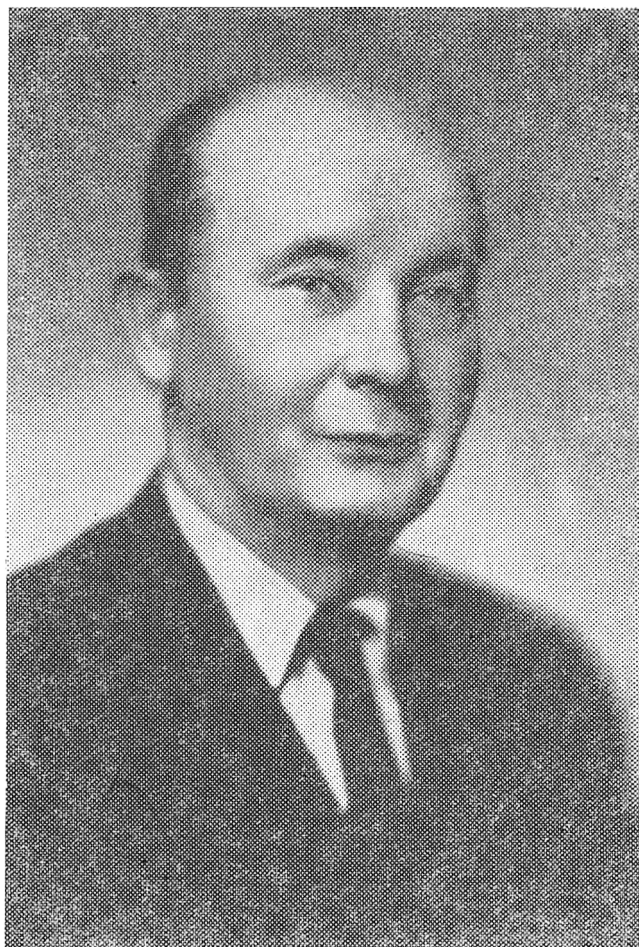


An illustration in a simple, line-art style. A large, balding man with a small mustache and a high-collared coat stands behind two young boys. The boy on the left is looking at the boy on the right, who is holding a large sheet of paper. The background is a black and white checkered pattern. The entire scene is framed by a decorative border with floral motifs at the corners and a large, ornate oval frame on the right side containing the title.

НИКОЛАЙ
МОСКВИН

КОНЕЦ
СТА-
РОЙ
ШКОЛЫ

G





НИКОДАИ
МОСКВИН
КОМЕЦ
СТАРОИ
ШКОЛЫ
ПОВЕ
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА ♦ 1969

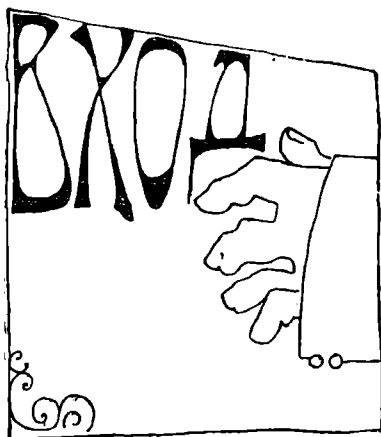


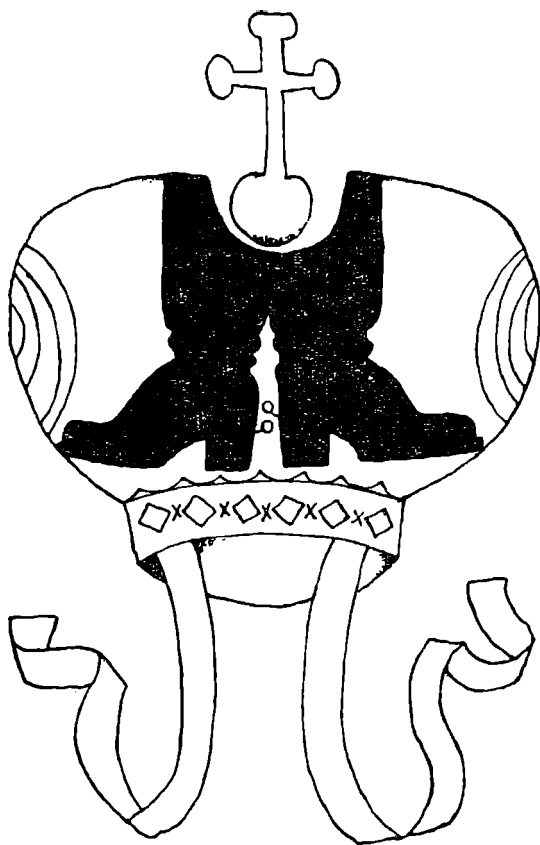
Не так уж много осталось людей, которые помнят дореволюционную среднюю школу — гимназии, реальные училища. После Октября старая школа с трудом — с успехом и неудачами, с радостью и горем — перестраивалась. Все было ново, неизведанно, все было в первый раз...

Это памятное писателю Николаю Москвину время — 1912—1919 годы — и послужило материалом для повести «Конец старой школы».

В ней читатель найдет социальную и житейскую атмосферу того времени: типы учителей и учеников, «начальствующих лиц»; попытки подростков осмыслить происходящее, активно вмешаться в жизнь; первое проявление любви, дружбы, товарищеской солидарности.

Повесть «Конец старой школы» была издана в 1931 году (называлась тогда «Гибель Реального») и больше не переиздавалась.





— Ну хорошо... гм... так... Расскажи еще, как Иисус Христос въезжал в Иерусалим?

Стриженный мальчик по фамилии Брусников почему-то «как» принимает за «на чем» и начинает быстро перебирать в уме всевозможное: корабль, лодка, волны, верблюды... велосипед (нет, нет, что за чушь!), тройка... лошадь. Во!.. Память услужливо подсовывает темную закоптелую роспись церковного свода. Там было изображено: простыни на земле, на простынях лежат цветы, вправо и влево — толпа, а в середине лошадь... Да, а за лошадью какая-то человеческая голова, за нею еще — это седок, на-верное... Ах, так!..

Священник ждет, смотря на экзаменующегося сквозь желтые нависшие брови. И стриженный смело, решительно:

— Въезжал на извозчике!

Ему кажется, что эхо высокой классной комнаты повторяет за ним:

— На извозчике!

Желтые брови священника спокойно поворачиваются к двум людям с петличками на мундирах. Люди эти с полной серьезностью — на желтые брови, но вдруг губы у них задрагивают... Священник, строго косясь на мундиры, поворачивает к стриженному лицо:

— Довольно!

Чувство свершенного, законченного дела приятно. Что бы ни было потом, но сейчас ты — свободен. Иерусалим, простыни плывут мимо...

Стриженный поворачивается. Перед ним — черные шеренги парт, над партами веснушчатое, пугливое и тоже стриженое. Им еще надо отвечать о потопах, о чуде в Кане Галилейской, об Иерусалиме...

Мимо... мимо.

Экзаменационный лист, выписанный на имя Брусникова Михаила, хрустящ и красив, как новая ассигнация. Вертикальная колонка слов и рядом с ними рукописные зеленые цифры. Если наклонить лист к свету, то цифры загораются золотом, как спинки длинных жучков. Рядом с «Закон божий» выписана цифра «3». По другим предметам у стриженного лучше. Внизу постановление экзаменационной комиссии: «...принят в первый класс Т — го реального училища».

* * *

В губернском городе Т—е в 1912 году можно было встретить в ученической форме и маленьких мальчиков, и подростков, и юношей с поясами, на металлических пряжках которых были выдавлены буквы:

Т. К. Г. Т. Д. Г. Т. К. У. Т. Р. У.

* * *

В стороне от главной улицы, близ кремля, царствует Т.К.Г. Четырехэтажное здание Т—ой классической гимназии смотрит окнами через кремлевский сад, на реку. В бело-сером корпусе — крошечные квадратные окошки. Добротная толщина стен. Окна в этих стенах напоминают четырехгранную воронку: широкий край — внутрь, узкий — на улицу, на солнце. Солнцу не пролезть в воронку — солнце идет мимо.

Около трех часов дня распахиваются двери, и kloкочущий поток серых шинелей мчится через

гимназический двор на улицу. Старшие, у которых уже не ранцы, а одна-две книжонки за бортом шинели; старшие, у которых начищены штиблеты и франтовски надета смятая фуражка, выходят медленно, с независимым видом. Гимназическая мелкота с тяжелыми ранцами, в фуражках с громадными упругими верхами стремглав вылетает на улицу и нетерпеливо оглядывается. Здесь их уже ждут.

— Бей говядину! — оголтело и обрадованно кричат заждавшиеся ученики из городского четырехклассного училища.

— Лупи «городских»! — вопят гимназисты и бросаются в бой.

«Городские» одеты пестро, бедно, но легко: черные куртки, короткие поддевки, отцовское перешитое пальто. У гимназистов же — ватные длиннопольные шинели, тяжелые ранцы. И бой идет недолго. С оторванными ранцами, с голубыми пятнами на лицах гимназисты привычно отступают.

Наверху главной Киевской улицы два высоких дома-близнеца. Оба белесо-желтые, с равномерными квадратами синих окон. Близнецы вежливо пропустили между собой Киевскую и стали друг против друга — строгие, неприступные. Ниже шумит устье главной улицы, за улицей — кремль, за кремлем — Заречье, дымит многотрубье заводов. Но дома-близнецы смотрят только друг на друга, молчаливо согласные между собой, довольные собой...

Правый — Дворянское благородное собрание, левый — Т-ая дворянская гимназия. На выгнутых пряжках этих гимназистов — гордое Т. Д. Г. Черные мундирчики, черные заглаженные брюки. На

гимназических же парадах, балах, актах — жесткие фанерообразные мундиры с красно-золотыми твердыми воротниками. Чтобы повернуть голову направо, надо все туловище повернуть направо...

Около трех к левому дому-близнецу спешат няньки, бонны. Черно-скромных малышей ведут за руку домой.

— Витечка, не обижали ли тебя сегодня в классе? Весь ли завтрак скушал?

Под мышкой у няни зажат Витин тяжелый ранец.

«Городские» не заглядывают в этот район. Разве только в буйные дни весны — когда душные классы и у «дворян» и у «городских» одинаково гибельны — по дороге на гулянку в парке цветные рубашки «городских» задерживаются около Дворянской гимназии. Тогда на ситцевое и сатиновое пусто и заносчиво смотрят два молчаливо-согласных, неприступных близнеца. Когда открывается дверь гимназии, идет — черное, черное, черное. Наверху Киевской улицы хозяева — черные.

— Ребята! Кухаркины сыночки пришли, — выкрикивает черный бодро, по-хозяйски, — гони их в шею!

— А сколько вас на фунт сушеных дают? — с середины дороги дразнит ситцевое, гуляющее.

— А вот мы тебе сейчас дадим! — И трое, четверо, ободряемые черной толпой за спиной, выбегают на дорогу. — Крой городских кухарок!..

Цветные, ситцевые отбегают назад — дальше от черной толпы, от черных резервов, затем останавливаются и, перемигнувшись:

— Кроши маменькиных сынков!

— Вкалывай!!!

Бонны и няни, ведущие за руку черную мелко-ту, негодующе:

— А еще дворяне, прости господи! Лезут к ко-
юкам, к мастеровым... заразы всякой еще набе-
рутся...

Коммерческое училище стоит на своей, на Ком-
мерческой улице. Стоит давно и прочно. Желтые
колонны потрескались, облупился карниз. Но жить
этим колоннам тысячу лет, и тысячу лет нависать
карнизу над колоннами. Прочно и крепко, как ку-
печеская поступь. Около трех часов у подъезда —
домашние тарантасы и дрожки. На тарантасах и
дрожках грузные отцы с толстой кирпичной шеей.
Из-под черного ватного картуза виден прямой
жесткий волос.

Порой подкатит к училищу тонконогая отличная
пролетка. Надутым синим мешком — кучер. За ку-
чером на сиденье — великолепный отец. Выбритый,
умытый, с солнечным бликом на блестящем котелке.
Перстень. Не зная того, поймал солнце на перстень,
играет им... Ждет сына — отдыхает между магази-
ном и обедом.

Дверь настежь. От зеленых околышей учеников
рябит в глазах. Вправо, влево — пешком в тихие до-
мики Коммерческой улицы. Те, которые садятся на
отцовские дрожки и тарантасы, — краснощекие
увальни. Отец в миниатюре. И на дрожках два от-
ца: один большой, другой — отец в юности. У мо-
лодого отца только зеленый околыш, мягче под фу-
ражкой волос и на щеках светящийся пушок.

Тот, который садится в тонконогую отличную
пролетку, — великолепный сын. Розовый, умытый,

с солнечными бликами на блестящих пуговицах. Не зная того, поймал солнце значком «Меркурия» на зеленом околыше и играет им. И в пролетке сидят опять два отца. И оба солидные, оба прилично-пухлые катят домой к обеду.

Дрожки дребезжат в далекое Заречье, пролетки мчатся в центр — на Посольскую, на Киевскую...

* * *

Первоклассники из Коммерческого училища, пересекая наискось улицу, поворачивают за угол. Миномходом хватают на тротуаре маленького человечка в сине-зеленой шинели:

— Расстегивайся! Читай, что на пряжке написано.

— «Тру», — угасающим шепотом читает сине-зеленый.

— А что трешь?

Приготовишкино недоуменье:

— Ничего...

— Ах, врать! То говоришь «трешь», а теперь нет! Что мне за это с тобой сделать?!

Малыш напыженно мигает глазами, словно придумывая себе наказание. Сзади грозные шаги. Зеленые околыши выпускают приготовишку. Голоса в спину:

— Купцы, очистить тротуар! Связался купец с младенцем!

Зеленые околыши коммерсантов шарахаются на дорогу. По тротуару бойко пагают сине-зеленые третьеклассники Реального училища. Приготовишка захлебывается радостью: свои сзади! Застегивает шинельку, бежит к краю тротуара — и через дорогу, давась смелостью:

— А у тебя что написано?

С той стороны улицы молчаливые кулаки зеленых околышей.

— «Тку» у тебя написано! — выкрикивает малыш. — А что ткешь? Ничего! Ах, врать? Что мне за это с тобой сделать?!..

Реальное училище стоит на углу Коммерческой и Томилинской улиц. Каждая улица города — на ладошке: вот начало, вот конец. Томилинская же — необозрима. Начинаясь от Посольской крупными домами, улица долго и прямо бежит к вокзалу. Дома — как в обратный конец бинокля: меньше, меньше, меньше... Дома, домики, домишки и дальше — пыльная муть. Из мути далекое паровозное кукареку. В зимний прозрачный день паровозы кричат так звонко и весело, что кажется, будто они удрали с вокзала и бегут по Томилинской в город. Вот сейчас из невидимого конца улицы, распугивая домишки-цыплята, вылетит острогрудый колесный царь и вперед — дым, пар, свист, — вперед па Клевскую...

С необозримого конца Томилинской — посредственно дороги, где лежат рельсы, — движется кропечный ящик. Пятнадцать долгих минут, и ящик равняется с Реальным училищем. Конка. Перед конкой бегут две чахлые лошади. Туловища их тесно прижаты друг к другу, прижаты до мыльной пены, до пота — срослись будто. Головы разведены в стороны: одна лошадь круто смотрит налево, другая круто — направо. И кажется: перед конкой бежит одна жирная лошадь о двух головах.

В конке скупающие пассажиры — путешественники к центру города. Пыльный и безысходный взгляд в окно конки-ящика: доедем ли? Под ящи-

ком крутятся колесики, визгливые, хрупкие, словно от детской коляски: дождем ли?

Мимо. Конка повернула на Посольскую и скрылась. Томилинская дремлет.

Реальное училище смотрит на Томилинскую широкими окнами высокого актового зала. Это парадная часть здания. Если же повернуть за угол на Коммерческую, то там в три ряда, в три желтых этажа — классы, классы, классы. Если встать на низкий выступ стены и заглянуть в окна: над партами ежиковые головы пугливых и отчаянных приготи-вишек, первоклассников и второклассников.

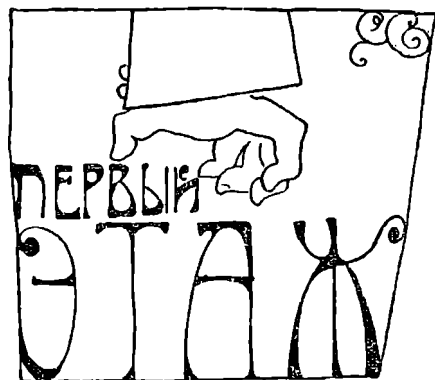
У каждого этажа — своя жизнь.

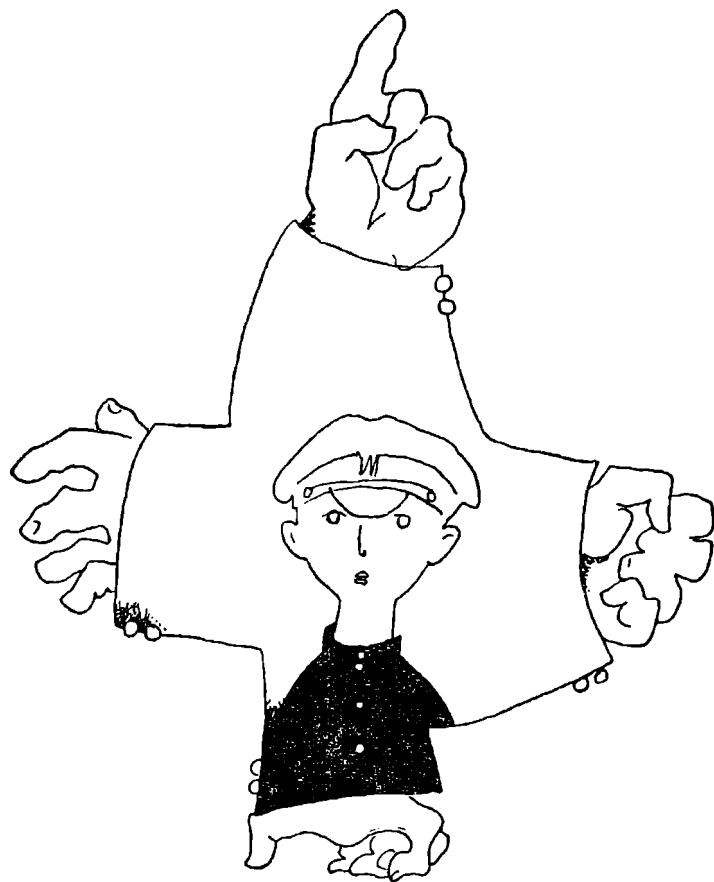
В первом этаже — приготовительный, первые и вторые классы — основные и параллельные. Буйное племя стриженных, веснушчатых, курносых, с тяжелыми ранцами, со скрипом новых штиблет, с красной полоской на лбу от вчера купленной форменной фуражки. Буйное племя, вооруженное рогатками, хлебными шариками, жеваной бумагой.

Во втором этаже — среднее поколение: третьи, четвертые и пятые классы. Ломающиеся голоса. Первая расческа тайно и неуверенно елозит по голове. Ранцы у первых учеников, у остальных — стопка книг под мышкой. В книгах опально-проклятый Нат Пинкертон и нежный Иван Тургенев.

Третий этаж — венец училищной мудрости, подготовительный класс взрослого техника, инженера, чиновника, педагога; томительный канун будущих усов, штатского платья, жены и, конечно, замечательной, удивительной жизни. Третий этаж — шестой и седьмой классы...

У каждого этажа — своя жизнь. Начнем с первого...





1. „Отечеству на пользу“

Поздно. Поздно...

С налету, с наскоку — сине-зеленая шинель взмахивает крыльями-полами и вмиг на вешалке. Над дважды изогнутым крючком, вздрагивая, ложится на полку фуражка, окантованная желтым. Бегом, с раскатом на гладком кафельном полу. Ветром по лестнице — на длинной лестнице вдруг только три ступеньки.

Ух!..

Второй этаж. Актальный зал. В дверях опоздавшие на молитву. В зале шеренгами стоят классы. Впереди приготовишки, за ними первые классы, вторые, третьи. В конце зала солидно и небрежно — училищная гвардия: седьмой класс. Все три этажа сошлись в актальный зал.

На правом фланге каждой шеренги — классные наставники. (Чем ближе к училищной гвардии, тем незаметнее и тише наставники.) Круглый, с моржеподобными усами Кирилл Кириллович смотрит на своих приготовишек необычайно грозно и, по-фельдфебельски, сразу на всех, сразу на сорок голов.

На фланге первого класса — учитель рисования, он же наставник, Котлов. Голова у него как-то странно сползла с шеи влево. Левый глаз, видимо от этого, прищурился, а правый, с высоко поднятой бровью, смотрит вдвойне зорко: и за себя и за левый. Время от времени правая бровь начинает предостерегающе залезать еще выше на лоб, а палец — рука у борта мундира — семафором сигнализирует опасность какому-то первокласснику.

У третьего класса — историк Семьянин. Вялое,

пожелтевшее лицо с мерцающими, пугливыми ресницами. Скашивая глаза влево, Семьянин укоряюще мерцает на разговаривающего.

Около шестого — молодой математик Ветров. Стоит скучающе и бездельно, будто он вовсе и не наставник, а тот же ученик, только зимующий второй или третий год в шестом классе.

Около семиклассников — никого. И если бы не их серые рубашки с двумя золотыми пуговками на воротнике, то эту шеренгу можно было бы принять за резерв, за базовый склад наставников...

Впереди пригостишек, впереди всех стоит священник Епифанов в фиолетовой шелковой рясе. Справа от него — ученический хор.

В стороне от шеренг и хора, как бы на заповедном участке пола, — сухая стройная фигура директора. Маленькая, по-птичьи худощаво-крепкая, сидящая голова, орлиный нос, прямая, словно зачеркивающая черта бровей.

Сзади него на иерархической дистанции — седой инспектор Оскар Оскарович и педагоги.

Кончается евангелие... Епифанов, оборотясь к залу, читает, размашисто вскидывая голову. Слова евангелия то крикливо летят к шеренгам, то, вдруг угасая, мечутся между ртом Епифанова и раскрытой книгой. От этого к шеренгам ползет рокочущее: «Уг... у... бр... уг...»

— «...Господи, это ты позвал меня идти к тебе по воде...бр...у... Петр вышел из лодки...уг...бр... Господи, спаси меня...у... у...гр...и сказал Иисус: «Малодушный, зачем же ты усомнился?»...у...бр...у... Бывшие в лодке поклонились Иисусу Христу и сказали: «Воистину ты сын божий»...у...гр...бр...»

Синяя закладка ложится на пожелтевшую стра-

ницу. Евангелие мягко захлопывается. Епифанов круто поворачивается лицом к иконе и быстро, словно наверстывая, крестится:

— ...Преплагий господь, ниспошли нам благодать духа твоего святого (концы слов, угасая, мечутся между Епифановым и иконой)... Дарствующ...и укрепляющ...душеви...наш...силы дабы, внимая преподаваемому нам учению, возрос... мы те... -наш... созда... во сла... (громко)... родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу...

В шеренгах крестятся. Директор недвижим. Орел на заповедной скале задумался. Епифанов взмахивает головой, и застоявшийся хор — по утрам голос свеж и не тронут визгом и криком перемен — звонко и дружно разрывает воздух:

— ...Спаси, го-о-споди, люди твоя и благослови достояние твое... Победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу на сопротивные даруя и твое-е сохраняя-я крестом твоим жителство...

На заповедном участке движение. Небрежно, по с достоинством рука директора поднялась на грудь, опустилась на живот, потом тронула правое плечо, левое. Конец утренней молитвы. Директор величаво, медленно поворачивается.

И тотчас по всей иерархической дистанции прощально, как при выходе из церкви, крестятся: седой Оскар Оскарович дважды, наставники трижды. Те же педагоги, которые опоздали к молитве и сейчас у дверей, крестятся торопливо, мелко, но с таким усердием, будто молитва вовсе не кончилась, а, наоборот, находится в самом упоительном разгаре.

Ближний к двери седьмой класс уходит первым. За ним шестой, пятый... Приготовишки, начавшие

уже испытывать привычное буйство — надо куда-то бежать, кричать, подставлять ножку, — неуклонно сдерживаемые толстенным Кирилл Кирилловичем, идут вдвоенной шеренгой. И, оборачиваясь, Кирилл Кириллович смотрит на стриженных и веснушчатых грозно и, по-фельдфебельски, сразу на всех, сразу на сорок голов.

В классы... В классы...

2. Украшение жизни

Начинаются уроки...

Входит коротконогий, в потертом темно-синем мундире учитель. На лице все опущено вниз: концы бровей — вниз, уголки век — вниз, рыжие свалывшиеся усы — вниз.

— Э-э... гаспада... э-э... возьмите тетради.

Топорща носки в сторону, ковыляет к черной доске. Берет мел. Долгий сосредоточенный взгляд на белый кусочек. Скребет мел пальцем. Взмахивает рукой, точно собираясь снять мундир. Четкими, отличными буквами выводит белым по черному: «Бог правду видит, да не скоро скажет». Коротконогий кладет мел на выступ доски и пощелкивает побелевшими пальцами — меловая пыль облачком кружится около руки.

— Пишите, — говорит он и всходит на кафедру, — пишите... э-э... чисто, без помарок... Волоски... э-э... надо делать быстро, сразу, жирную сторону букв... э-э... медленно, плавно нажимая пером... Не спешите, приучайтесь... э-э... с детства к хорошему... э-э... почерку. Красивый, правильный... э-э... почерк... э-э... украшение жизни... э-э... Пишите!

Учитель чистописания Павел Сильвестрович Лоскутин, поерзав, удобнее садится на стул, раскрывает свежий, хрустящий журнал. Тридцать две стриженных головы дружно склоняются над белым полем тетрадок. На белом поле косой дождь голубых линеек.

Первое — «Бог» — у Миши Брусникова получилось отлично: «Б» стоит прочно и крепко, как купчиха, «о» катится по голубой строчке, будто детский обруч, подгоняемый слева палочкой — волоском, «г» — грациозно изгибается, деликатно задерживая мчащийся «о» — обруч. Но со словом «правду» некрасиво вышло: ножка «у» захлебнулась чернилами, «у» похоже на рогатку с толстой ручкой...

...А если бить по летающим «змеям», ничего лучше рогатки нет... Маленький камешек в плоском мешочке сильно оттянуть к себе... Глупый бумажный змей беззаботно, не чуя гибели, плавно виляет хвостом в воздухе... Прищуриться — и выпустить мешочек. Черная круглая резина с воем и судорогой выбрасывает камешек... Тр!!! Удар в барабан... У бумажного летуна переломлена дражка. Штопором, безудержной мельницей — вниз... Человек с рогаткой хватает подбитого летуна...

— Э-э... аккуратней, аккуратней... э-э... Что это у вас? Э-э... Разве это «Бог»? Это у вас «Бок»... э-э... «Баня», а не «Бог»...

Лоскутин около встревоженного Плясова. Долговязый Аверьян Плясов, расширяя голубовато-молочные глаза:

— Павел Сильвестрович, откуда же «Баня»? У меня «Бог»!

— Э-э!.. Не разговаривать!.. Не мешать другим! Э-э... пишите дальше.

По белому полю под косым дождем голубых линеек течет строка за строкой. Переполненная строчками страница переворачивается. Новое поле — свежий голубой дождь. В левом верхнем углу первое «Б» становится на линейку уже привычно, уверенно. Тридцать два исходящих чернилами пера усердно скрипят, царапают...

«...Красивый и правильный почерк — украшение жизни... э-э...»

* * *

Малая перемена — десятиминутный миг.

Служитель Филимон покидает полутемный вестибюль с сине-зелеными шинелями и рядами желтокантовых фуражек. Филимон из гвардейских фельдфебелей — высок, строен, молодцеват. Каштановые усы длинно, упруго топорщатся в стороны. Медный колокольчик с деревянной ручкой Филимон плотно прижал к ладони, словно поймал в него шмеля и держит — не забился бы язык колокольчика о медные гудящие стенки раньше времени.

Филимон выжидательно, вкось — на часы у канцелярии. И когда часы показывают неукоснительно точно: половина десятого, — подходит к подножью лестницы. Выпущенный на волю язык колокольчика радостно мечется. Звук бежит по нижнему этажу, взлетает на второй и третий. Взлетев на этаж, разбегается по классам.

Долгожданный звонок-освободитель! Что может быть лучше тебя?

...Вот преподаватель повел пальцем по алфавиту... Тридцать две души тоскливо ждут... Вот палец остановился...

Кого?

Кто-то один из тридцати двух уже знает... Ошибиться нельзя — глаз натренирован и точен: сантиметр ниже — счастливое мимо, сантиметр ниже — гибель алфавитного соседа.

Преподаватель медленно приподнимает голову:

— Ну, скажем, вот...

И вдруг!

Долгожданный звонок-освободитель! Что может быть лучше тебя?

Внизу — разлив. Несутся головы, руки, ноги. Вздываются, перекатываются бугры. Разлив захлестывает коридоры. Где-то взмахивают кулаки, где-то падают, визжат...

Посередине коридора темно-синими высокими ко-раблями чинно плывут мундиры. Плывут в тихую учительскую. Только бы добраться до этой комнаты, закрыть дверь — и тишина, и покой, и сладостная десятиминутная папираса. Но плыть трудно. Разлив нагромождает на пути живые самодвижущиеся клубки тел. И надо обходить их, скользить около стены.

Коротконогий темно-синий Лоскутин смело, привычно ныряет — Лоскутин, безысходный классный надзиратель.

— Э-э... Гаспада... гаспада! Кто это? А?.. Что это? А кто бросил? Идем... э-э... к инспектору! Плясов... э-э... встань под часы... э-э!..

Малая перемена—десятиминутный миг. Вот уже Филимон с прижатым языком колокольчика косится на часы. Только что пришедший в учительскую Лоскутин спешно закуривает, косясь через дверь на Филимона.

Рука взмахивает колокольчиком.

Конец перемены.

3. Встать!..

Записная книжечка, крытая зеленой искусственной кожей... Весь мир — в книжечке.

Мир у Бернарда Эразмовича Бурга: квартира на Петровской улице и Реальное училище. Вокруг квартиры и училища — необитаемый пустырь. Впрочем, пустырь не беспокоит Бурга — пустыря нет. Квартира и училище наполняют мир до краев, до отказа. И все это в зеленой книжечке. В верхней и нижней крышках книжечки — трубочки из искусственной кожи. Черный тоненький карандаш продет в трубочки. Квартира и Реальное соединились вместе. Мир закрыт.

Первая часть книжечки-мира запята квартирой.

По-немецки, колющим готическим шрифтом: «Сданное прачке белье». И тут полная опись простынь, сорочек, воротничков, кальсон, с упоминанием матернала, из которого они сделаны. Далее графа «Расход», куда по дням внесены все расходы — от бутылки керосина до полфунта яблок. Что делать по квартире сегодня, завтра, на неделю вперед — идет под графой «Поступки».

Вторая часть книжечки-мира — Реальное училище. Тут по-русски: это служба. Служба у русского государства. Регламентированный государственный язык. Но русские буквы — по-готически колючи и изгибаобразны. Шесть отделов — шесть классов: «I класс основной», «I класс параллельный», «II класс основной», «II класс параллельный», «V класс», «VI класс».

Каждый отдел делится на две части: список учеников класса и содержание годового курса класса.

Список: влево — фамилии, вправо — клеточки, клеточки... Они мелко разграфлены красными чернилами. Клеточки заготовлены на год. И от скопища их густо розовеют страницы.

Бернард Эразмович ставит отметки дважды: официально и узаконенно — в классный журнал и вторично — в зеленую книжечку. Классный журнал — неточность, неопределенность, игрушка: его берут не только педагоги, но иногда для педагога журнал приносят из учительской сами ученики. Путь из учительской до классов бывает далек, по дороге уборная. Тайно припрятанная в умывальнике чернильница, острый ножичек или жесткая резинка, и (о ужас) угрюмые колы, конфузясь, могут обратиться в четверки, чахлые тройки — в отличные пятерки. Классный журнал — игрушка. Нет, Бернард Эразмович Бург осторожен. Пусть делают с классным журналом что хотят, но книжечка-мир скажет правду. Она не подведет. В клеточку на густо-розовой странице ставится угрюмый кол или чахлая тройка, и это точно, определенно, непоколебимо. Черный тоненький карандаш просовывается в трубочки — и мир закрыт. Мир-книжечка опускается в боковой карман мундира; мир для посторонних исчез.

Вторая часть отдела: содержание годового курса класса.

Рекорд точности и продуманности. На каждый урок в продолжение всего учебного года — задаваемое. Мир-книжечка открывается на один урок вперед. Бернард Эразмович подходит с раскрытой книжечкой к доске и четким готическим частоколом:

«На четверг 8 октября. Хрестоматия Глезер и Пецольт, часть первая, § 35. Выписать слова. Грам-

матика — §§ 12 и 13 (с примечаниями), повт. пр. ур.».

Отряхивая мел с пальцев, шипяще в пол:

— Запишите!

«Повт. пр. ур.» — «повторить предыдущий урок». И это — из урока в урок, из года в год, из класса в класс...

* * *

— Бург! Бург!..

С раскатом по паркету бегут к своим партам подглядывающие в дверь Антошка Телегин и Сережка Феодор.

В прошлый урок были розданы письменные работы. Колы-кнуты стегали тетрадки. Тройки — чахоточная радость — были редки. Четверка — одна, у Тутеева. Но всего больше было колов-кнутов.

Тетрадка за три копейки — безобидное, даже приятное создание, когда она чиста и нетронута. Тетрадка с проверенной и возвращенной письменной работой — тревожная загадка. С трепетом открывается синяя бумажная обертка, головокружительно листаются страницы, испещренные страшным красным, и вот конец — красный кол. Рядом косым, готическим частоколом неизменное: «Б. Б.»

В прошлый урок были розданы колы...

По классу настороженное: «Бург, Бург...» — и смолкло. В тоскливой тишине четко и бесшумно встают тридцать два.

По классному паркету пущен синий шар. Бург катится от дверей к кафедре. Собственно, два шара: маленький розовенький — голова; большой синий — туловище. У синего шара внизу — ножки-коротышки. Наверху синего — руки-придатки. Когда Бер-

нард Эразмович лезет в левый карман брюк за платком, пагнбает синый шар круто влево — иначе не достать.

Вот он на кафедре. Тридцать два садятся за парты. Книжечка-мир неприметно и ласково ложится поверх классного журнала. Карандашик из трубочек — вон. Мир раскрыт.

Встали из-за парт: Плясов, Телегин, Черных и Феодор. Наказанные в разное время и на разные сроки, они так будут стоять весь урок Бурга. Сергей Феодор — только сегодня. Телегин еще и следующий урок. Черных приказано стоять до пасхи (на уроках Бурга). Плясову обреченно повезло: он стоит с начала учебного года и будет стоять до конца его.

Бург переворачивает страницу зеленой книжечки и, заглянув в нее, смотрит на вставших. Все правильно: именно четверо должны сегодня стоять. Смущает только Сергей Феодор: странная фамилия — правильно ли он записал ее в книжечку? Не Сергей ли его фамилия? В классном журнале фамилия «Феодор». Но разве можно поручиться за классный журнал? Неточность, неопределенность, игрушка...

Сергей Феодор стоит прямо, по-солдатски. Волосы коротким ежиком. Вокруг острого носа — россыпь веснушек. Глаза настойчиво стынут на Бернарде Эразмовиче. Феодор будто показывает всему классу, как надо стоять наказанному: не переступая, не двигаясь, не мигая. В прошлый урок Феодор с шумом уронил на пол хрестоматию. Какие могут быть печальности? Почему зеленая книжечка никогда не падает? Почему классный журнал у Бурга никогда не падает? Встать на два урока!..

Антон Телегин встал на три урока за неуместное рассуждение о полученном коле. Не рассуждать! Единица продумана и взвешена. Кроме того, дважды занесена: в классный журнал и в зеленую книжечку. Не рассуждать! Встать на три урока!

Телегин стоит нарочито напыженно, выкатив грудь, отведя назад угловатые плечи. Но локоть незаметно оперся о подоконник: так легче. В профиль Телегин красив: прямая линия лба и носа. Со стороны Бурга у Телегина острое, как бы разрезающее воздух, лицо.

Черных и Плясов стоят за стрельбу из рогаток на немецком.

Венька Плясов ухитрился стрелять и стоя на уроках Бурга — даже удобнее: шире горизонт. Но Бернارد Эразмович вторично поймал Плясова. Верхний розовенький шар густо облился багровым. Шар багровел, придумывая что-нибудь уничтожающее, каторжное — и:

— Встать до конца года!

Хотел сказать: «до конца Реального», но книжечка-мир не вмещает этого, она охватывает только один год бурговской жизни.

Класс покорен и тих. Даже наказанные несут смиренно свое наказание.

* * *

Уже дежурный назвал отсутствующих, и Бург дважды — в журнал и книжечку — сделал пометки об этом. Уже объяснен будущий урок. Сейчас Бернارد Эразмович запишет на доске урок к следующему разу и начнет спрашивать (когда выбирает фамплию, черный карандаш из зеленой книжечки — игровым пропеллером между пальцами).

Бург с открытой книжечкой катится с кафедры к доске. Берет самый длинный и тонкий кусок мела. Подносит близко к глазам, внимательно разглядывает, изучает будто: съедобно ли? Вкусно ли будет? Взмахивает рукой — и буква за буквой начинает стройку готического частокола.

«На субботу 23 октября. Хрестомат. Глезер и...

Что это?

...и Пецольд...»

Что такое? Далекий гудок оружейного завода или...

«...Часть 1-я, § ...»

Гул наполняет комнату. Басом загудели классные окна. Бург бросает мел, и синий шар поворачивается блестящими пуговицами к классу:

— Что это-о такое?

Бург смотрит на класс, класс — на Бурга. Ничего нет. Двадцать восемь за партами старательно записывают. Все хорошо, но... неуловимый гул наполняет комнату. Рты закрыты — гул идет откуда-то из животов, из-под парт:

У-у-у...

Плясов кончил записывать (последнее: «Часть 1-я, § ...»), выпрямился и в упор, не мигая смотрит на Бурга.

У-у-у...

Гудит Телегин, гудят Феодор и Черных. Гудят сидящие — гудит весь класс. Брусников кончил записывать (последнее: «Часть 1-я, § ...»), листает хрестоматию. «До чего здорово получается, рот закрыт, а звук есть...» Звенит в ушах. Нос забирает воздух, и вязкая волна гула вздымается на бас:

У-у-у...

Шары катятся на кафедру. Книжечкой — сильно об стол. Шлепок разрезает гул, но на мгновение: он снова плывет к кафедре. Ножка-коротышка об пол:

— Встать!!

Встает весь класс. И вдруг тишина. Бург кивает головой на левый ряд. Там — высокий ученик с маленькой, как бы чужой головой, бледные щеки взду-ты, точно за каждой щекой спрятано по сливе.

— Тутеев, сядьте.

Первый ученик есть и первый ученик по поведению — Тутеев не мог гудеть. Что это?

У-у-у...

Где-то снова родившийся гул бурно, мстительно смывает минуты молчанья. На отрезанном, захлестываемом острове-кафедре оторопелый Бург ли-стает книжечку (здесь, может быть, рецепт, может быть, здесь спасенье...).

У-у-у...

Вдруг сквозь гул — из коридора радостно звон-нок-освободитель.

Довольно!

Отчетливая тишина. Звонок трепыхнулся, успо-канвающе звякнул и стих.

В еще звенящей тишине катятся взволнованные шары к двери: скорее, скорее в учительскую, весь класс — в штрафной журнал... ну да, кроме... пер-вый ученик есть и первый ученик по поведению, он не мог...

Гроыхая партами, с неутихшим гулом в ушах, летит буйное племя стриженных, веснушчатых, кур-носых в коридор...

Ура! Розданные в прошлый урок колы-кнуты отомщены, ура!

В коридоры, в зал, на этажи...

На доске забыт недостроенный готический ча-стокол:

«На субботу 23 октября. Хрестомат. Глезер и Пецольд, часть 1-я, § ...»

Книжечка-мир, какой же параграф?

4. Двадцать лет не знаю

Это уже не первый раз. Илья Петрович Вырыпаев раскрывает классный журнал и долго смотрит на список учеников. Смотрит упорно, изумленно, будто на невиданное чудо. Это его губит. Когда человек пьян или не выспался, читать трудно.

Вырыпаев — все ниже и ниже над списком. Со стороны парт (невольное уважение к человеку на кафедре) — надежда: близорукость. Но через миг ясно: Вырыпаев мягко стучается носом о стол и... просыпается. Голова обиженно поднимается.

Смятое, словно придорожная консервная банка, лицо теперь явно, отчетливо обзревается всем классом. Осовелые глаза с трудом, но широко раскрыты — Илья Петрович нагоняет бодрость. Но ряды, строчки ученических голов — те же усыпляющие, губительные буквы, и на глаза снова опускается сон...

Вырыпаев мотает головой, вскакивает. Надо говорить, двигаться, иначе...

— Прошлый раз мы-ых... хг (слова першат в горле, как продавленная пробка в бутылке)... Мы... хы-ых... заговорили о десятичных дробях... Что значит десятичные? Ну, скажите вот вы!

Буро-синий дрожащий палец — в гущу голов.

Телегин обернулся к Лисенко, Лисенко к Павлову, Павлов к Телегину. Кого спрашивают?

— Ну, вот вы, вы! — Палец ближе и нетерпеливее...

Абрамка Лисенко солидно встает. На бледном, бескровном лице японские, раскосые-узкие глаза. Отчетливо, не спеша, буква в букву:

— Десятичные — это значит кратные десяти. Кратные десяти — это значит без остатка делятся на десять. Без остатка делятся на десять — это значит...

— Хорошо! Довольно...

Вырыпаев проводит правой рукой по воздуху, словно зачеркивает Лисенко. Так дирижер умирляет барабан в оркестре.

— Теперь вот вы скажите!

Колеблющийся палец через комнату — вдаль. Сейчас уж совсем не понять.

Брусников переглядывается с Черных. Встают оба.

Не замечая вставших, быстро, будто боясь опоздать, встает впереди Тутеев. Его молочные вздутые щеки — точно по сливе за щекой — уже пришли в движение, губы уже...

Теперь не утерпеть! Стоят трое. Такой замечательный случай!.. Еще, еще! Всккивает пунцовый Кленовский, Аркович, вертлявый Пушаков... Еще!..

Сергей Федор, Щукин, еще...

Левый ряд парт опустел. Все стоят, кроме читающего длинноволосого Гришина. Через комнату, в правом ряду, оголтело вскакивает невыдержавший Плясов. Когда Тутеев видит, что встал Плясов, — для него все ясно. Тутеев садится. Первый ученик есть и первый ученик по поведению.

Вырыпаев проводит рукой по воздуху и зачеркивает Плясова. Это просто фокус: вот сейчас стоял длинноногий Плясов — и его уже нет (китайцы-фокусники: «Только что было — только что нет!»). Илья Петрович поднимает левую руку и решительно зачеркивает всех вставших левых. С громом, от которого прыгают парты, садятся. Вырыпаев на трясущихся согнутых ногах подходит и дотрагивается до плеча читающего Гришина:

— Я же вот вас просил, а вы не встаете!..

— А что?

Гришин растерянно приподнимается, пальцем закладывает клигу. Карие запавшие глаза, мягко-овальный лоб над ним, в нарушение обычая первого этакта, тайно отпускаемые волосы.

Илья Петрович возвращается на кафедру. Мечтательно прищуриваясь, спрашивает:

— Скажите, Гришин, как вот, по-вашему, почему десятичные дроби — именно десятичные, десятикратные, а не восьмиричные или не двенадцатиричные? То есть не восьмикратные, не двенадцатикратные? Ведь, например, двенадцатикратные, пожалуй, лучше десятикратных? А?

Мягкий овал лба прорезают молодые ручейки-морщинки. Гришину приятно: это, в сущности, не вопрос урока, а какое-то добродушное, родное для него философствование. И еще: Вырыпаев выбрал именно как раз его; точно угадал Илья Петрович, что Гришину на это охотнее всего...

— По-моему, тоже — двенадцатиричные дроби были бы лучше. Десять делится только на два и на пять, а двенадцать на два, на три, на четыре, на шесть, — это удобнее...

Смятое лицо Вырыпаева расправляется, светится.

— Прекрасно! Прекрасно! Сядьте! — рукой по воздуху, но так плавно и нерешительно, будто сам усаживает Гришина — мягко, осторожно. — Вы знаете, друзья... — Вырыпаев сошел с кафедры и быстро-быстро зашагал между рядами парт, — ...я вот двадцать лет преподаю арифметику и вообще математику и до сих пор не знаю, почему у нас и за границей именно десятичные, а не двенадцатиричные дроби. Какая нелепость! Выгода последних дробей несомненна! Ну, вот вы только подумайте. Говорят, для процентов лучше. Но почему? Можно считать проценты не со ста, а со ста двадцати. Еще удобнее, чем со ста! Что вы на это скажете?

...Шестнадцать парт. Тридцать два ящика в партах. В двадцати ящиках, несомненно, черная тесмочная резина, бумажные трубочки для бросания жевачей бумаги, куски мела... Но лежат все эти орудия и снаряды в дружном покое. А удобно: выстрелить из резинки, из трубочки, запустить мелом в дальний ряд — Вырыпай подслеповат, Вырыпай глуховат... а если увидит, услышит, то ничего: головой покачает и этак рукой зачеркнет. Орудия и снаряды — в дружном порядке... И еще: перебежать из крайнего ряда к среднему и неприметно молниеносно дать розовому, пухлому Яшмарову подзатыльник. Можно не перебегая — подлезть под парту и весело дернуть переднего соседа за ногу, но...

Но Вырыпай двадцать лет преподает математику и сомневается перед тридцатью двумя стриженными в ценностях десятичных дробей. Вырыпаю нужно бы объяснять «бассейны с двумя кранами» или купцов с «чайными смесями», а он забегает на полгода вперед, в десятичные дали, да еще мечтательно щурится.

— ...Можно считать проценты не со ста, а со ста двадцати. Еще удобнее, чем со ста. Что вы на это скажете? (Торопливо — к кафедре.) Заболтался! Какие проценты! Откуда вы их знаете? Не будем опережать события. На чем мы остановились? (Снова лицо — придорожная банка.) На смесях?

Тутеев поспешно:

— На смесях.

— Благодарю. Ну вот, решим такую задачу... Помните вы все-таки, — оживают морщинки у глаз, — что математика для вас, реалистов, есть главное: вы, вероятно, техниками, инженерами будете, поэтому к математике надо подходить с душой и телом... не правило вы зубрить, а логику математических рассуждений усвоить! Что я говорю — логику! А вы и логики не знаете... Для реалистов математика — это всё... Центр! Но решим такую задачку... Ах, эти купцы, купцы! Вечно они кого-то обжуливают. Записывайте! — Лицо у Вырыпаева тускнеет. — «Купец смешал два сорта чая. Один сорт стоил 3 р. 20 к. за фунт, фунт другого сорта — 1 р. 18 к.». Наверно, дрянь какая-нибудь, они это могут... «Спрашивается, сколько он взял того и другого сорта, если...»

— Илья Петрович, это тоже «центр»?

— Что?

— А вот это... купцы... чай?

— Прекратите разговоры!.. — Рука зачеркивает разговор. — «Спрашивается, сколько он взял того и другого фунта...» Нет, не фунта, а сорта. — Морщинки у глаз вдруг опять оживают. — Возможно, что и «центр», но не ручаюсь. Я двадцать лет смешиваю невидимые чаи, но поставь меня приказчиком в бакалейную лавку — завтра хозяин пойдет с протянутой ручкой просить: разорю! Но те, которые постар-

ше меня, говорят, что надо вам это знать. Итак, «спрашивается, сколько он взял... (Чу! В коридоре гудит медь.) того и другого сорта, если...»

5. Большая перемена

...Ну быстрее, быстрее! И до чего же он неповоротлив, медлителен!

И верно: Илья Петрович топчется перед дверью, хлопает себя по карманам. Может быть, он что-нибудь забыл? Ну, выходи, Вырыпай, скорей...

Хлынувший класс давно бы перекатил через преподавателя — первым в коридор, в бурный водопад большой перемены. Но Вырылая ждут. А он двигается к двери возмутительно медленно, вот-вот остановится.

Вышел. Плотина открыта. Застоявшийся класс рыбьей стаей — в дверь, в коридоры, на этажн...

Большая перемена — получасовое гуляй-поле.

Со второго и третьего этажей обрушивающейся лавиной — вниз. Ступеньки стремглав, до ряби в глазах, из-под ног — назад. Ноги перемахивают с первой ступеньки на пятую, с пятой на десятую, на пятнадцатую. И на лестнице вдруг — только три ступеньки! Долетев до нижнего этажа, лавина, скользя на кафельном полу, вкатывается в коридор.

Там длинная дорожка из столов и под прямым углом тупик — поперечный стол. В тупике кудри пара, стук фаянсовой посуды, жужжащие струи кипятка. И самовар. Он величествен, как истукан. Четыре ножки в виде львиных лап прочно держат его круглый живот из блестящей красно-зеркальной меди. Когда снимают сверху конфорку — божество

снимает шляпу, раскланивается. Еще минуту назад в красном зеркале отражались только недвижные окна коридора, сейчас — мельтешащие стриженные головы...

Чай. Белая фаянсовая кружка с синим рисунком: синий домик, синее дерево, синий заяц. Над красно-бурой плескающейся поверхностью — низкий, обжигающий пар.

Первому этажу везет — он быстрее всех (близко: вот класс, вот чай) захватывает кружки. Калач, принесенный из дома, уже в руке, уже откусан — только вот этот проклятый обжигающий пар.

Миша Брусников хватает с подноса пустую холодную кружку и из кружки в кружку переливает чай.

— Мишка, кончай! — торопит Телегин.

— Сейчас...

В левой руке Брусникова калач, в правой — кружка с остуженным чаем. Влево — кусок, вправо — глоток. Брусников худ, большеголов. Темные волосы мягки и ласковы. Этим волосам надо быть не темными, а светлыми. Пальцы длинные, гибкие.

Телегин кончил пить. Оставшийся кусочек сидного завернул в бумагу — и в карман. Черные глубокие глаза ожимающе — к Брусникову.

Где-то в недрах коридоров и этажей — призывный вой.

— Бежим! Наших уж быют. Плясов орет!..

Брусников бросает кружку, недоеденный калач. Ноги уже пошли, ноги уже бегут. Телегин оборачивается назад, на калач.

— Ты что же калачами это, главное, разбрасываешься?

— Ладно. Пускай...

Но Брусникову вдруг жалко брошенного куска. И не паелся, кажется, — еще обиднее. Не вернуться ли? Но поздно, поздно — ноги уже бегут.

В конце чайного коридора — пухлый ученик. Щеки как наливные яблоки.

— Зинка! — кричит на бегу Телегин. — Не облопайся! Беги на подмогу — там уже кроются!

И мимо, мимо...

«Зипка» — Зиновий Яшмаров. У него своя, принесенная из дома, фарфоровая кружка с нарисованным розовым яблоком. Когда рука подносит кружку к губам — три яблока. Щеки — наливные яблоки, только краснее, ярче. Над яблоками черные, будто мокрые вишенки, — глаза. Яшмаров обглаживает куриную ногу и косится вишенками на откусанную уже плитку шоколада.

...В тупике самовар-истукан. Блестящая медь — красное зеркало. На верхней крышке-зеркале вдавленная славянская вязь: «Фабрика Савелия Ивановича Яшмарова»...

* * *

В актовом зале, в коридорах, на этажах — схватки, драки, победный вой, угасающие крики, удар с тыла, удар с фланга... По зданию оголтело несутся, тайно крадутся отряды. В большую перемену два нижних этажа Реального училища — поле брани.

Дерутся всяко: друг с другом, полкласса на полкласса, а то основные с параллельными. К концу же большой перемены возникает самая великая баталия: объявляется война второму этажу.

Война!!

Телегин и Брусниковъ подросли к тому времени, когда уже начался бой на главной лестнице.

Сверху — свисающими гроздьями — второй этаж. Тот, кто ударяет, сгибается, словно собирается съехать со снежной горы: иначе не достать нижних.

Снизу — неистовствующий первый этаж. Чтобы достать какого-нибудь вторэтажника, надо подскокить к нему, но это может только Умялов из параллельного класса. Великан нижнего этажа подпрыгивает и, нагнув голову, не глядя, вслепую тащит ближайшего верхнего вниз. Тут уж град первоэтажных кулачков.

От пунцово-напыженного Кленовского идет пар. Голубые глазки озабоченно мечутся: удастся ли это? У первоэтажников Кленовского и Лисенко — свое дело. Маленький Лисенко ложится на живот и ящерницей, под охраной ног Кленовского, ползет вверх по лестнице. Кленовский усиленно машет кулаками в воздухе, оголтело орет, скрывая свой коварный план. Невидимый Лисенко хватается за ноги верхнего и стаскивает по лестнице вниз. Вторэтажники спасают своего: за плечи — кверху; Лисенко за штаны — книзу. Сыплются веселые пуговицы...

Плясов прорывается к Умялову. Разве Плясов не одного роста с Умяловым? Он тоже может вот так: нагнуть голову и не глядя, вслепую тащить несчастного вторэтажника вниз.

— Раздайся, ребята!.. Руки подставляй — сейчас третий и четвертый класс буду сбрасывать!

Сверху неведомый кулак-снаряд глухо тыкается в плечо героя. Плясов, смешно вскидывая длинные ноги, закатывая белесые глаза, падает на своих, как на тюфяк.

Телегин и Брусников ожесточенно пробиваются

к передним рядам, — поздно подбежали, но можно еще успеть!.. Нет, не успели...

Паника! Паника! Второй этаж отступает!

Тайно посланный отряд пробрался по второй лестнице и сейчас бьет врага с тыла. Второй этаж отступает!

— Ура!

— Ура... ра... ра-а!!!

И вдруг «ура» обрывается. И тишина...

Наверху лестницы, напоминая картину «Явление Христа народу», но, увы, по-земному прочно расставив ноги, — инспектор Оскар Оскарович.

По тишине шипящее:

— Оска!.. Оска!!

И в стороны, врассыпную, проваливаясь в преисподнюю нижнего этажа, исчезают, как бы тают в воздухе, и победители и побежденные...

Но поздно!.. Нет, положительно, Оскар Оскарович восьминог, восьмипрук. Цепкие руки хватают тающих в воздухе бойцов. И по русско-немецки:

— Рутковский, встаньте под чайси! Плясов, под чайси! Умялов, и ви... под чайси! Пумпянский, ви такая большая олух, четвертый класс — и тоже... встаньте под чайси! Тс-с... стой, стоять!.. Телегин, под чайси! Торопиться нет... торопиться нет! Брусликов, под чайси! У вас, Крылов, скоро усы бывают, а ви... под чайси! Сергей, под чайси!..

— Я не Сергей, я — Феодор.

— Будем проверять, под чайси! Губович, Черных, Лисенко — ви есть настоящий бандит, встаньте под чайси!.. Кленовский, куда пошел, куда идет? Я сказал — под чайси...

— Вы не говорпли.

— Молчать — под чайси!.. Что я вижу! И ви,

Яшмаров?! Что будет сказать ваш отец? Что вы делать на большой перемена? Если я буду замечать еще раз, я буду сказать вашему отцу. Встаньте, пожалуйста, под чайси!..

Часы на втором и на первом этажах. Бойцы из первого этажа стоят под своими часами. Второэтажники — под своим.

Бравые усы Филимона уже показываются из вестибюля. Медный колокольчик с деревянной ручкой Филимон плотно прижал к ладони, словно поймал в него шмеля, и держит его...

6. Господин директор

— Встать!

Это Плясов. У него такое место, что ему прежде всех видно, кто входит в класс. Со смешком, но особому размеренно, строго встают тридцать два.

С двумя длинными бумажными трубами входит служитель Елисей.

Елисей маленький, Филимону он по плечо. Но у Филимона только бравые, горделивые усы, у Елисея же кроме усов еще не то белокурые, не то седеющие баки. В мировую войну Елпсей был прозван «Францем-Иосифом».

От вставшего класса он конфузится:

— Сидитесь... Сидитесь... — Елисей сильно окает. — Господин директор идет, вот он вам покажет, как встовать...

Но где-то там, внутри себя, Елисей доволен и оттого, что доволен, еще строже, еще непреклоннее:

— Я говорю, сидитесь!.. Всеволод Корнилович идет!..

Елисей взмахивает трубой, цепляет невидимую веревочку за невидимый гвоздь в классной доске. Хрупкая, словно накрахмаленная, разворачивается труба: желтое и голубое. Желтые прерии Америки недвижно плывут по голубому притихшему океану...

Елисей бежит с другой трубой к стене. Невидимая веревочка, невидимый гвоздь. Крахмальный хруп. Желтое и голубое. Выжженная солнцем Африка лежит на теплом голубеющем океане.

За дверью шепот мягких шуршащих шагов. Миг — за парты. Миг — встали.

Плавно, на сухих крепких ногах идет человек к кафедре. Маленькая, по-птичьи худощавая, сидящая голова кивает классу.

Тридцать два садятся за парты так тихо, будто на подушки.

На класс не мигая смотрят круглые и большие, как у крупной птицы, глаза. Орлиный нос, прямая, словно зачеркивающая черта бровей.

Елисей стоит перед картой. Бакенбарды Елисея бросают на Сахару густую, освежающую тень. Продираясь сквозь чащу белокурых волос, долго, извилисто бежит многоводная Конго.

Крупные глаза птицы негодующе раскрыты. Орлиный нос-клюв угрожающе поворачивается на желтоватого от африканских песков Елисея: вот-вот клюнет его.

— Гмы-ы-ы! — Прямая черта бровей зачеркивает Елисея. — Куды повесил?! Гмы-ы-ы...

(Невероятно, но именно так: «Куды».)

Елисей бросается от карты, и в его спину долбит клюв:

— Что же, ты не знаешь... гмы-ы-ы... куды вешать?!

Елисей ныряет под голубой, притихший океан, и там, на страшной глубине, исчезнувший Елисей — из-под карты высовываются только ноги — снимает невидимую ниточку с невидимого гвоздя. Белая изнанка карты накрахмаленным парусом — хруп-хруп — по классу. Клюв долбит в бегущую спину: — Не туды, а сюды!.. Гмы-ы-ы...

Но наконец-то! Мировой хаос организован: Америка — на стене, Африка — на классной доске.

Господину директору так удобнее управлять миром.

* * *

Всеволод Корнилович ставит в классный журнал круглую «отличную» пятерку. (На первых страницах ученических балльников и дневников напечатана расценка: «1 — худо, 2 — плохо, 3 — удовлетвори-тельно, 4 — хорошо, 5 — отлично».)

Яшмаров покидает Африку и идет к своей парте. Шепот ползет по полу:

— Зинка! Пять!..

— Пять!

— Пять!..

Несколько минут назад мир сотворился во второй раз: тихое озеро Виктория было Яшмаровым отнято от бассейна Нила и передано во владенье многоводного Конго; Суэцкий канал росчерком классной указки был переброшен из Средиземного моря на юг Аравии, к воротам в Индийский океан.

Под орлиным клювом тонкогубая улыбка.

— Виктория... гм-ы-ы... в Нильской системе... Суэцкий — в Средиземном... Это вы, Яшмаров, подучите... Гмы-ы-ы... усвойте!..

Худощаво-крепкая голова птицы кивает: идите. Шепот ползет по полу:

— Пять!.. Пять!.. Пять!..

...В тупике самовар-истукан. Блистающая медь — красное зеркало. На верхней крышке-зеркале вдавленная славянская вязь: «Фабрика Савелия Ивановича Яшмарова»...

* * *

В классе тридцать два. Но за этими тридцатью двумя незримо стоят еще тридцать два больших, взрослых, полноценных человека: отцы.

На родительском комитете — обратно: господин директор смотрит на отцов, и за ними — вернее, перед ними — незримо стоят малолетние Ивановы, Петровы...

...Маленький Иванов — только место на парте, но вот его отец — это важно...

Три отца в этом классе запомнились. Представьте: три рыжих бороды! О нет, господин директор их не путает!

У Савелия Ивановича Яшмарова борода светлая, пламенеющая, цвета молодой меди, формы овальной, финской. Туловище Савелия Ивановича большое, круглое, на коротеньких крепких ножках. Самовар-истукан на прочных ножках. Когда Савелий Иванович снимает шляпу — самовар снимает конфорку: раскланивается. Кстатт: Савелий Иванович преподнес самовар самому директору, директор — родительскому комитету, комитет — чайной комиссии. И пока передавался самовар, стало казаться, что подарено три самовара — до того растрогал всех этот подарок. Савелий Иванович умеет преподносить. Родительский комитет собирает пожертвования.

ния для неимущих учеников. Савелий Иванович щедро и великодушно — директору. Директор — родительскому комитету. Комитет — неимущему. Деньги растут, троются...

Но и самовар и деньги — это не главное для господина директора. Главное — над рыжебородым самоварным божеством медный красно-зеркальный нимб. Концентрическими кругами вдавлена в нимб славянская вязь: «Фабрика...»

Вторая рыжая борода — так... Правда, она красивее: темнее, аккуратнее, но — так... Носит ее Андриан Васильевич (кажется, Андриан, а может быть, Андрей Васильевич или Василий Андреевич) Брусников. Господин директор его помнит: высокий, худой, в наглухо застегнутом сюртуке, золотой блик очков и темная с рыжиной борода строгим прямоугольником. Строгость и сдержанность — это хорошо. Он несомненно интеллигентен, воспитан, но что же еще?! В городе на Киевской улице Средне-Азиатский банк. В банке бухгалтерия, в ней бухгалтер — Брусников, — вот и всё...

Третья рыжая борода... Впрочем, почему же рыжая? Она почти черная, местами только... И вот это — именно плохо — местами рыжая. Неопрятность какая-то! Вместе с чувством неопрятности и запомнилась третья борода. Запомнилось господину директору и лицо: узкое, худощавое, с прямой линией лба и носа.

Это — Телегин (в училищной канцелярии известны его имя и отчество, а так — Телегин). В городе за Киевской, за рекой — многотрубье заводов. Среди него — Оружейный. В Оружейном — Телегин. Не запомнилось кто: полировщик, формовщик, литейщик, — но он «оттуда»... И еще: рубашка! Кроме

неопрятной черно-рыжей бороды — еще рубашка!.. Если ты нашел средства отдать сына в Реальное училище, почему же сам-то... Конечно, просвещение, конечно, прогресс, конечно, пусть и низшее сословие... Но к чему эта какая-то сатиновая рубашка под пиджаком? У нас не церковноприходское, не городское, у нас — Реальное училище, и вдруг так... Здесь же и Савеллий Иванович!

* * *

Вместе со звонком появляется бакенбардный Елисей. Неслышно подходит к картам. Америка и Африка свертываются в трубы. Плавню, на сухих, крепких ногах идет человек с кафедры. Маленькая, по-птичьи худошавая, седеющая голова прощально кивает классу. На дверь не мигая смотрят круглые и большие, как у крупной птицы, глаза. Орлиный нос, прямая, словно зачеркивающая черта бровей.

За господином директором на цыпочках двигается Елисей, осторожно держа свернутые в трубы материи и океаны.

7. Гипсовая лилия

Искусство из искусств — тушевка.

Делается это так: черный итальянский карандаш зачищается очень тонко. Не тонко, а тончайше, — игла. Контур гипсовой лилии уже на бумаге: три лепестка, чашечка и короткая ножка. Лилия бесплотна, как видение. Но вот черная игла скользит внутри контура. Сперва чашечка. Это труднее, но эффектнее. Игла карандаша на правой стороне ча-

шечки вначале наносит косые, падающие справа налево штрихи; затем такие же штрихи — слева направо. Теневая сетка из мельчайших ромбиков. Но какая сетка! Если взять чуткий кронциркуль и проверить стороны ромбиков, они будут неукоснительно равны между собой, а каждый ромбик — близнец остальным ромбикам. Ромб в ромб.

О, это искусство!

Но это не все. Когда сделана сетка, прокладывается собственно тень. И вот чашечка лилии наполнилась плотью, она кажется как бы выпуклой. Это несомненно. В этом нельзя сомневаться. Даниил Матвеевич Котлов сам зачинивал карандаш, сам создавал армию мельчайших ромбиков...

Вздых и шип: шшы... шшы... Под лилией, под рисовальной доской медленно распрямляются ноги. Даниил Матвеевич грузно поднимается со скамейки Кленовского. Рука тяжело ложится на полное плечо Борьки.

— Шшы... вот как надо... шш... видел... шшы?.. Тушевочка-а?!

Даниил Матвеевич играет правым глазом. И оттого что доволен, голова еще больше как бы сползла с шеи влево. Левый глаз окончательно закрылся, над правым — извивается бровь, зрачок то темнее, то светлее, то шире, то уже: играет...

— Ш-ш... тушевочка-а?!

Рисовальный класс — черный, пятирусный амфитеатр. На черных досках белые квадраты бумаги, на белых квадратах тридцать два карандашных видения одной гипсовой лилии. Перед амфитеатром, на коричневом бруске-подставке, висит она, единственная: гипсовая копия неведомой гигантской лилии. Гипсовая доска-фон, на ней барельефом: три лепест-

ка, чашечка, ножка, — лилия. Пыль училищных веков легла на гипсе: серая доска, серая лилия..

Даниил Матвеевич спускается из амфитеатра к своему столу. Правый глаз и бровь уже неподвижны, уже в привычной окаменелости. Серый палет покрывает лицо.

Сзади Даниила Матвеевича висят по стене гипсовые доски. На досках орнаменты: львиные головы, тюльпаны, морские звезды, бараньи профили...

Отдельно на полках: скрюченная в судороге мертво-серая рука, с поднятым большим пальцем: бело-серая нога плотно влипла в гипсовую доску. И еще: гипсовые носы, уши, слепой зрак античных глаз.

И как среди кирпичей дом, так среди ушей, носов, глаз, рук — бюсты: Афродиты, Зевса, Дианы, Аполлона, Сократа. И тут пыль легла на гипсовый Олимп, на гипсовых молодоженов, на философов — легла плотно, въелась в лица. Через маленькое ушко и полную щеку Афродиты пролег глубокий шрам-трещина. В трещине пыль...

...Искусство из искусств — тушевка. Все остальное — мимо. Делается это так: черный итальянский карандаш зачиливается очень тонко. Не тонко, а тончайше...

И чем больше сидит Даниил Матвеевич за столом, тем тусклее его лицо. Пыль гипсовых лплий, носов, рук, пыль Афродиты невидимо ложится на голову, сползшую влево, на полуприкрытые глаза, на бледные щеки.

...Тушевка — искусство из искусств. Все остальное — мимо.

В актовом зале, справа от икон, висит большая картина, изображающая человека на мраморной веранде. На мраморе застыли отлично вычищенные сапоги. В сапоги искусно, без лишних складок, заправлены темно-зеленые шаровары. Над шароварами прекрасно выглаженный мундир. На мундире — золото, ордена, пуговицы. Их покрывает, как бы погашая излишний блеск, голубая широкая лента через плечо. Внизу ленты, у кармана, спрятался в складках маленький веселенький крестик. На плечах мундира серебряные погоны — две черные полоски: полковник. Между погонами твердый, фанерообразный воротник с извивающимися галунами. Над воротником, венчая конструкцию, — розово-пухленькая голова. Мягкая каштановая борода, мягкий, слегка приподнятый нос, мягкие неуверенные брови. Глаза затуманенные, невыспавшиеся.

Много позже было обнаружено, что императора на портрете и нет. Есть: сапоги, шаровары, мундир, ордена, лента, но вот голова...

...По веспам в городе расцветают ярмарки... У ярмарочного фотографа натянута полотнище: на лазуревом фоне мчится огненно-рыжий жеребец. На лошади бравый, обвешанный орденами гусар. Но вместо головы на полотнище зияет дырка. В дырку видны небо, облака, ярмарочные палатки.

Влюбленный молодец из купеческой палатки становится на высокую табуретку позади полотнища. Голову — в дырку. И — о чудо — у гусара голова! Повернута к фотографу. Горделиво, бойко разглядывает с высоты рыжего жеребца низменное ярмароч-

ное торжище: грязь, палатки, босяков, копеечные пряники...

Фотограф — щелк!.. Карточка. Вечером подарок возлюбленной: «Это — я, когда был гусаром...»

В актовом зале, справа от икон, человек на мраморной веранде.

«Это — я, когда был императором...»

Кстати, веранда. У мраморных перил — малахитовая ваза. На правой стороне вазы незримая сетка из черных ромбиков. Отличная тушевка нанесена и на каждую колонну перил... На полу веранды вкось лежат крупные буквы: «Д. М. Котлов».

Искусство из искусств, все остальное — мимо.

* * *

Растушеванная Даниилом Матвеевичем чашечка лилии — для Кленовского укор. Вот как падо, а как у него?! На лепестках лилии грязные, спутанные, будто клубок ниток, штрихи. Жарко! Лицо его пунцово и пламенно, из-под очков близоруко глядят голубые глазки. На гипсовую лилию — на квадрат бумаги, на лилию — на бумагу... Не разобрать, не сделать нужных ромбиков... Кленовский, увальнем, цепляясь ногами за ступеньки, идет к гипсовой лилии. Ну, вот она!.. Долго, в упор, запоминающе разглядывает натуру. Закрывает глаза, чтобы не потерять виденное, и вслепую, громыхая по ступенькам амфитеатра, бежит на свое место: скорее, скорее — не забыть бы! Но тщетно! Не донес...

Кленовский протирает очки платком. И снова, с застывшим в руке карандашом, вскидывает глаза:

на лилию — на бумагу, на лилию — на бумагу. Тьфу!
Будь ты проклята!

— Ш-ш, что же это... ш-ш... это у тебя такое?

За спиной семафором поднятая бровь, удивленный глаз.

— Я, Даниил Матвееч, плохо вижу...

— Ш-ш... Вижу?.. Что видеть, ш-ш? Надо знать!.. Ш-ш... Знать надо тушевку!.. Что у тебя, а?.. Ш-ш... Сено какое-то, а не штрихи! Ш-ш... Надо сперва справа налево, потом слева направо. Осторожно, точно, равномерно, ш-ш... Ведь вот показал на чашечке, а ты... Худо-о-жник!.. Олух царя небесного!.. Дома практикуй, учись... ш-ш!.. На второй год будешь у меня сидеть... ш-ш... Без тушевки не переведу!.. Тушевка — это...

...И опять глаза: на лилию — на бумагу, на лилию — на бумагу...

* * *

— Дежурный, молитву!

Рисовальный класс на третьем этаже. Звонok усатого Филимона далек и глух.

...Домой... домой... домой...

Дежурный Брусников выскакивает перед амфитеатром. В углу между морской звездой и гипсовой львиной головой — темная иконка.

— Благодарим тебе, создателю, яко сподобил еси нас благодати твоея (домой!), воеж вни...учень... благо... наш...нача...

— Реже! Куда гонишь? Молитву читаешь!

— ...Благослови наших начальников, родителей и учителей (домой!), веду... нас к позна... блага и пода... на... си...

— Отставить! Сначала. Реже! Прочтешь еще раз так — на час без обеда. Начинай!

— Благодарим тебе, создателю, яко сподобил... Домой!

В полутемном вестибюле пожар или потоп? Синие-зеленые шинели стремглав с вешалок — и в рукава, на плечи... Ноги уже пошли, ноги уже бегут...

Дверь. Пьянящий морозный воздух в нос, в горло — по всему телу. Кружится, туманится голова. Белая от снега Томилинская улица ослепительна. Солнечные шарики путаются в ресницах, застилают дома, людей... С конца улицы в упор, в ухо — звонкое паровозное кукареку...

...Паровоз удрал с вокзала и бежит по Томилинской в город... Вот сейчас из невидимого конца улицы, распугивая домишки-цыплята, вылетит острогрудый колесный царь — и вперед! Дым, пар, свист... Вперед на Киевскую!..

Хочется глотать воздух жадно, запоем, захлебываясь...

Домой, домой!..

От новых галош на снегу сетка из вдавленных ровных ромбиков. Глупые галоши расточительно тужеют снег...

8. Балльники

Катаются дни...

Дни листают учебники, ученики каждый день вызываются к классной доске, растет грудa исписанных тетрадей. Все это спрессовывается, сгущается до трепетных цифр в клеточках классного журнала,

В неведомые, страшные день и час тридцать два голубых балльника раздаются классу. Что же страшного: маленькая длинная тетрабочка в картонном голубом переплете; на первой странице искусной рукой классного наставника нарисованы с росчерками фамилия и имя ученика; на второй — черные цифры, красиво выведенные. Внизу под цифрами напечатано курсивом: «*Подпись родителей*» и точки, точки, точки. Отец подпишет: вместо точек отцовская фамилия, — вот и все... Что же тут такого?..

В неведомые, злые день и час тридцать два голубых балльника раздаются классу.

* * *

Из дневника Зиновия Яшмарова

10-е. Понедельник

Сегодня выдали балльники. У меня по немецкому кол. По арифметике двойка. По остальным прекрасно. За двойку нагорит. За кол не знаю, что будет. Я уже большой, мне скоро тринадцать лет, а я боюсь, как пригостишка. В субботу надо сдать балльник. Покажу папе завтра перед фабрикой — и делу конец.

Щелка почти готова. Займусь ею после балльника.

11-е. Вторник, вечером

Зачем я не показал сегодня? Сейчас я, Витя и Мина ездили с мисс Прайт к Татарниковым. К Наде я сегодня не подходил. Звали играть в привидение.

Я не пошел. Надя обиделась, кажется. Черт с ней! Не до нее... Зачем я сегодня не показал балльник? А как показать...

За утренним чаем с папой встретились (я нарочно раньше встал). Папа спросил:

— Ну, как, наследник, учишься?

— Учусь, — я говорю.

А папа:

— Ну, учись, учись. Пятерки приноси.

Как после этого покажешь! Окончательно решено — покажу завтра.

13-е. Четверг, вечером

Какой дьявол придумал это мученье! Тихон и Даша зовут меня уже «молодой барин», а я вот мучаюсь! Сегодня не пил чай и не ужинал. Вчера ночью упал с постели, разбил локоть. Ночью решил переправить кол на четверку. А потом, когда буду подавать, опять на кол. Утром искал черные чернила. У нас в доме только зеленые. На большой перемене сбегал из Реального в лавочку за чернилами. Когда приехал за мной Тихон, я его спросил:

— Тихон! Я загадал: пароход или паровоз?

Тихон ответил: «Паровоз». А я загадал: если переправлять, то «паровоз». Значит, переправлять кол на четыре. Судьба! Когда подъехали к дому и стал выходить из пролетки, стукнул нечаянно пухляком о козлы. Порезал руку и закапал брюки и пролетку. Я сказал Тихону не говорить об этом никому. Обещал отлить из большой бутылки черно-смородиновой наливки, что стоит в буфете. Но значит, судьба — не переправлять!

Сегодня после вечернего чая вынул из-под ко-

мода балльник и пошел в столовую, но папа, оказывается, уже в спальне — одевается в Благородное собрание.

Ждал папу в передней, но туда вышли и мама (тоже в Благородное), и Витка, и Даша. При всех испугался показать. Спрятал под рубашку. Папа увидел меня и спросил: «Что сентябрем смотришь? Мисс мне тоже говорила, что ты на нее букой глядишь!» А сам надевает шляпу и в дверь. Ему все равно.

Ушли оба. На маме было зеленое шелковое платье с желтой тесемкой. Мама на днях накричала на мисс за это платье. Мисс сказала, что портниха зря нашила желтую тесемку, лучше было бы черную или белую. Мама накричала, что у мисс нет какого-то вкуса и что мама сама выбирала...

И вот ушли. Папа говорит, что я гляжу на «нее» букой! Если бы он знал! А «она»... Все готово. Завтра, завтра, после балльника! Сегодня четверг, в субботу утром надо уже принести балльник, — значит, завтра последний день. Покажу с утра и сразу, чтобы уже не думать, не мучиться. А вечером, вечером...

15-е. Суббота, утро

Проспал. На историю не пошел. Пойду ко второму уроку. Вчера купил еще раз чернила. Переправил кол на четыре, а двойку — на тройку. Кол очень хорошо получился, а двойку скоблил ножиком.

Показал вчера до ужина, как только приехал из города папа. Папа кричал и стучал кулаком по столу. Когда увидел немецкий кол (переправленный на четыре), схватил меня за плечо и два раза

ударил по затылку. Я заревел. На крик пришла из гостиной мама. Мама сказала, что по голове бить нельзя, — надо бить по мягкому, по...

Папа, я узнал, встретил на улице классного наставника, и он ему на меня наобещал и про кол и про двойку. Папа не переставая все время сильно стучал:

— Колы получать да еще мошенничать, подлоги делать!

Потом папа громко кричал:

— Англичанка у нас дома живет, французенка на дом ходит. Что же, мерзавец, теперь еще немца приглашать?! Может быть, и арифметика звать?! За что я тогда деньги в Реальное плачу?

Тут папа опять ударил меня по затылку. Но мама сказала, что не надо по затылку, а надо по мягкому. Хорошо, что «ее» в комнате не было.

Когда все прошло и папа подписал балльник, он сказал, что сам поговорит с немцем и с арифметиком: почему по всем другим предметам мне ставят хорошие отметки, а по их плохие?

Но что потом было! Я почистил зубы, умылся, лег спать. Витька заснул быстро. Моя кровать около двери. Дверь заперта. А между створок ниже середины — щель. Чтобы она больше была, я долго ковырял ножичком. Закрывал на день хлебным мякишем.

Витька заснул быстро. Я подполз головой на середину кровати и отлепил мякиш... Мисс сидела против щелки и читала. Долго читала, я даже спать захотел. Но вот она отложила книгу и стала стелить постель. Я испугался: а вдруг она потушит свет! Мисс сняла платье и стала белая-белая. Сняла еще белое. На ней белые штаны, как у меня, но до

колен и с кружевами. Зачем? Все равно никто под платьем не заметит!

Тут завозился Витька. Но я лег на подушку и нарочно притворился спящим. Лицу стало очень жарко, и захотелось пить... Витька сейчас же заснул. Я опять подполз к щелке...

* * *

Из дневника Антона Телегина

10 ноября

Выдали балльники. По немецкому кол. По истории и черчению двойки. По географии три с минусом. Остальное — живет. Что делать? Подтянуться, исправить в будущем колы и двойки я сумею. Но матери, главное, пятерки сейчас давай. Показать отцу, он не будет драться. Лучше все же показать матери. Но она ведь отцу скажет все равно...

Сегодня встретил Арсюшку Скосарева. Он был со своими ребятами из Городского. Он спросил меня: «Ваших выпустили?» Я говорю: «Выпустили, а зачем тебе?» Он говорит: «Крыть идем! Вчера ваши зеленые покоцали наших на Заячьей улице!» А я говорю ему: «Брось, Арсюшка, — может, это гимназисты!» А он отвечает: «Одна дрянь! Только известно, что реалисты. А ты что, господских сынков защищаешь?» Я ему говорю: «Я не защищаю, а только наших реалистов тут, главное, много — побьют тебя, Арсюшка, вместе с ребятами почем зря».

Они все-таки пошли. Вот Арсюшка Скосарев и другие с нашей улицы не любят, зачем я и Митька

Пушаков в Реальном учимся, а не в Городском, как они. А я вовсе, главное, не задаюсь перед ними. А Митьку они хотели даже лупить — не признает городских. И надо ему всыпать — на задавайся! Не подлизывайся к Яшмарову.

11 ноября, вечером

Хотел показать отцу перед обедом. Но мать нашла у меня балльник под матрацем сама. Когда пришел отец с завода, она показала ему. Потом подскочила ко мне и начала балльником хлестать меня по щекам и кричала:

— Пастухом хочешь быть, босяком! Мы в лепешку разбиваемся, чтобы за тебя в Реальное платить!..

Я взял ее за руку и остановил. От этого она еще пуще. Схватила меня левой рукой за волосы. Я вырвался и убежал на улицу. Отец на меня смотрел и молчал. Лучше бы мать била меня без него. Я и объяснить ничего не мог отцу.

На улице решил, что не буду никогда нигде учиться, ни в Реальном, ни в Городском. Буду или шахтером, или знаменитым акробатом в цирке. Под землей, я читал, главное, очень интересно. Можно спасти людей от взрыва газа. Только вот темно и мокро. Знаменитым акробатом лучше, главное — светлей. Все будут мне завидовать и удивляться, а я буду ломаться на проволоке.

Отец выбежал раздетый на улицу и сказал:

— Простудишься, иди обедать.

Я пошел. Мать хотела опять кричать, но отец запретил ей. После каши отец пошел к себе за перегородку и велел туда же мне идти. Одел очки и долго читал балльник. Спросил, главное, по-

чему и как это случилось. Я объяснил. Отец подписывался очень долго, на каждую букву макал ручку и каждую букву отдельно — я и то быстрее подписываюсь. Когда кончил, посмотрел, все ли буквы написал. Отдал балльник мне и сказал:

— Учись лучше — нам образованные нужны.

Я подумал, кому это «нам»? Отцу с матерью, что ли? А отец у меня, между прочим, хороший.

Вот и всё. Как легко и весело теперь! А сколько страху было. Хорошо бы, если бы царь велел сжечь все балльники! И чтобы, главное, не смотреть: пятерки там или колы — все сжечь.

9. Теплая ложка

Кончается урок закона божьего. Полный, с пышными рыжими волосами батюшка медленно ходит перед партами. Поверх его широкой, коричневой рясы висит на груди большой, тяжелый серебряный крест. По кресту от рыжих волос проходят, мигают желтые блики. Так в свежих сумерках желтеет в угасающем небе крест колокольни.

Говорит медленно, значительно:

— Сегодня последний урок перед пасхой. Через три дня вас всех распустят на пасхальные каникулы. Помните, что сейчас идет великий пост. Кто не говел — пусть говеет на страстной неделе. Говеть должен каждый. Говенье очищает душу и тело от грехов и приближает нас к богу... После говенья мы уподобляется невинным новорожденным: столь же, сколь они, становимся безгрешными и чистыми. После пасхи все принесите удостоверение из

церкви, что вы удостоились святого таинства причащения...

В открытую форточку класса апрельский ветер, дверь класса скрипит — апрельский сквозняк. По волосам батюшки идет ветряная рябь, и от этого желтый блик елозит по серебряному кресту. Так отражение легких облачков проходит по угасающему кресту колокольни.

— Мишка, ты где будешь говеть?

— Я-то?.. Я у Хлавры́лавры...¹ А ты?

— У Воздвиженья.

— Говей, Антошка, у нас. У нас веселей, и сидеть можно: скамейки есть.

— У вас скамейки, а у нас дьякон, главное, очень смешной. Когда поет, спину чешет. Все смеются...

— А зато у нас, у Хлавры́лавры, после причастия запивать вином много дают. Сколько хочешь.

— И ты, Мишка, думаешь, это вино? Это сладкая вода с клюквой!..

— Может, это у вас, у Воздвиженья, клюква! У нас пристав с погонами говеет. Он бы разобрал, клюква это или вино. Он бы за клюкву взгрел бы!..

— И много дают?

— Я тебе говорю, много! Подливает еще.

— Я к причастию к вам приду.

— К причастию тебя не пустят. Увидят, что не говел, не исповедовался... Говей, Антошка, у нас целником.

— Ну и черт с вами, не пускайте! А целиком я говеть у вас все равно не буду, далеко... Потом у нас дьякон смешной...

¹ Церковь Фрола и Лавра.

...Главное — не смотреть часто. Чтобы не узнала об этом, не заметила, не подумала. Вот сосчитать гипсовые кресты у потолка — и потом... Один, два... восемь... девятнадцать... сорок четыре... Сорок четыре... теперь можно.

Где-то торопливо, кругло:

— Да исправится моли-итва моя...

Миша Брусников поворачивает голову. Сорок четыре креста под потолком — теперь можно...

Коричневое гимназическое платье. Черный передник. На темной, красиво заплетенной косе — голубой бант. Профиль на фоне иконы неясен и матов — акварель на серой бумаге. Смешливая ямка на щеке. А может быть, это не от ямки, а от робкого взмаха ресниц — такого восхитительного, такого милого взмаха!

Ничего нет. Церковь плывет мимо. Только голубой бант, смешливая ямка, робкие ресницы. Вселенная — голубое, смешливое, робкое...

Главное — не смотреть часто. Чтобы не узнала, не заметила, не подумала...

От алтаря плавно доносится:

— Господи владыко живота моего... дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми...

Желто-голубой воздух. За окном церкви гаснет апрельское предвечерье. От свечей желтый колеблющийся туман. Перед иконами круглые горящие свечные частоколы. Святые освещены снизу, как артисты рампой.

— ...Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу твоему.

«Любви!»

В желтом свечном тумане голубой птицей вздрагивает бант.

«Любви, господи; даруй мне любовь и даруй «ей», чтобы и она тоже... Ведь ты же можешь... Пусть она почувствует, что я... но так, чтобы не узнала про это, не заметила... не сразу... Ты же ведь можешь!»

— Ей, господи царю, даруй ми зрети моя прегрешения...

Голубой птицей вздрагивает бант...

«Разве ты не видишь, что я ее люблю!..»

За окнами гаснет апрельское предвечерье. Мир — голубой бант.

* * *

За ширмой у священника тихо и пыльно. Сверху шепотом:

— Вспомни, не завидовал ли кому-нибудь? Не желал ли зла своему ближнему?

На уровне Мишиных глаз — свечная россыпь на аналое. Свечи лежат и косо, и вверх фитилем, и вниз. Каких только нет! Длинные, с золотой спиралью (наверно, по рублю!), толстая, тяжелая (это пристава, у которого погоны!), пучки желтых — десятикопеечных, коричневых — пятачковых. Двухкопеечные тоненькие — конфузливо, в стороне. Миша нашел свою пятачковую: фитиль скрючен набок, а внизу расплюсчен воск.

В руке должен быть гривешник. Там ли он? Белый кружочек так долго был зажат в ладони, что согрелся, взмок и теперь не слышен.

— ...Чтил ли отца и мать свою? Не бранился ли черным словом?..

Теперь скоро... Накроет епитрахилью, перекрестит, отпустит — и конец... А как же с «ней»? Хочется так, не поднимая головы, сказать, спросить: как же с голубым бантом, со смешливой ямкой?.. Как же? Вот сказать сейчас, сию минуту, что я... Пусть он шепнет ей... или нет: пускай лучше спросит...

— Имя?

«Чье имя? Какое имя?.. Ах, да!»

— Михаил.

Под епитрахилью темно и жарко. Где-то глухо:
— ...рабу божьему Михаилу во имя отца, сына и святого духа...

Ну вот и конец.

Нагретый, потный гривенник куда-то туда — в золото-крестное, в складки, в рясу, в руку — неизвестно куда.

* * *

Белые платья, белые передники, белые банты — белые волны по церкви: причастие.

Повизгивая, скачет занавес, бесшумно открываются «царские врата». Слышны грузные шаги священника. Над белыми волнами приподнята рука с металлической чашей. Над волнами гулко:

— Со страхом божьим и верою приступите...

Белое плывет, белое бурлит. Отделившиеся от темных боковых икон черные торжественные старухи-причастницы двинулись вперед.

— Верую, господи, и исповедую...

На черно-белых волнах голубой бант. Голубая птица взлетела сегодня с темной косы кверху, на голову.

— ...Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело твое...

...Ближе! Туда, к птице!..

Миша проскальзывает между белых платьев, между торжественных чепцов черных причастниц.

«...К тебе, к тебе, белая девочка... Не оглядывайся, не смотри на меня, не надо... Как зовут тебя?.. Я узнаю, я узнаю...»

Чаша устало и неприметно опускается. Священник меняет замлевшую руку, и чаша поднимается. Черно-белое падает на колени, встает, крепится.

— ...Вечери твоя тайные днесь, сыне божий, причастника мя прими: не бо врагом твоим тайну повем...

...Страшно, страшно! Но не уйти, не раздумать... «Ты не видишь меня. Я стою сзади тебя, я слышу твоё дыхание, твоё платье задевает мою руку... Вот сейчас ты повернула голову, и темная коса твоя коснулась моих пальцев — среднего и безымянного... Я поцелую их сегодня, завтра — всю жизнь... Я люблю тебя...»

— ...Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, господи, но во исцеление души и тела — аминь!..

И было так.

Запомнилось радостно, отчетливо: перед чашей она встала на дыпочки, и торжественный шепот дунул на ее замерцавшие в ожидании ресницы.

— Имя?

«...Сейчас имя... сейчас её голос...»

— Варя.

Тысяча незримых голосов по церкви: «Варя, Варя, Варя...»

— Причащается (маленькая ложечка дрожит в грузной руке) раба божия Варвара.

Бант поплыл влево. Шепот — в лицо:

— Имя?

— Михаил.

— Причащается раб...

И запомнилось радостно, отчетливо: ложка после ее губ — теплая... После ее губ...

* * *

— Как, Мишк, у вас причащались уж?

— Причащались.

— Вот оказия, опоздал!.. У нас только что кончили. Я первым, главное, был... Пока добежал — вот и опоздал... Что это с тобой?

— А что?

— Ржа у тебя какая-то непохожая.

— Так... Простудился... Одна тут история... Потом...

— И много на запивку давали?

— Давали...

— Много?

— Вначале много — подливали еще. А после пристав — мало... Пристав, жадюга, много выпил — два раза ему подливали.

— А вкусная была?

— Кажется, вкусная...

— Чего это, главное, «кажется»? Не пил, что ль?

— Пил. Вкусная... Не помню... Эх, Антошка, если бы ты знал!..

— Да ты шальной какой-то!.. Удостоверение взял, что говел?

- Сегодня возьму... Скажи, Антошка, я загадал, — но быстро: голубое или... или ну, желтое?
— Голубое. Чего это? Чего улыбаешься?
— Так просто... Голубое!..

10. Конец первого этажа

Из дневника Антона Телегина

Воскресенье

Скоро конец учения. Наши зубрилы-мученики гонят вовсю. Мне тоже надо кое-что подогнать. Черчение теперь хорошо, а вот география неважно. Хотел на той неделе нарочно засесть за нее, да не тут-то было — стали праздновать 300 лет царей Романовых.

Интересно было, хотя отец говорил, что это ни к чему: можно не праздновать; а по-моему, интересно попраздновали — три дня не учились!

Особенно ядовито, главное, с парадом на Соборной площади получилось. Нас как «потешных»¹ послали, конечно, раньше на площадь, чтобы места Реальному забрать. Наши «потешные» ружья мы очень хорошо начистили. Плясов даже засунул в дуло заряд из пугача и тайком в уборной выстрелил. Лоскутин прибежал на выстрел, но Плясов, конечно, уже исчез.

Место на площади мы заняли самое лучшее — слева от собора. Скоро пришли к нам наши — реа-

¹ «Потешные» — своеобразная «военизация» старой средней школы.

листы. Перед нами, у стены, стояли женские гимназии. Девчонки все, главное, в белых фартуках, а которые постарше — с завитыми колечками на лбу. Наши ребята тоже все чистые были, умытые. Потом пришли дворяне, коммерсанты и гимназисты. Дворяне, черти, пришли в мундирах с красными воротниками. Зинка Яшмаров, Тутеев и Пушаков Митька позавидовали: «Хорошо бы, говорят, и нам тоже такие мундиры носить». А я говорю: «Не стоит того, жарко в мундире, и за каждую пуговицу, главное, отвечай, когда потеряешь». А Митьке я сказал: «Скажи спасибо, что не в Городское отец тебя отдал — там бы тебе мундиры с красными воротниками прописали бы!» А Митька перед Зинкой покраснел — он к нему подмазывается... Тутеев сказал, что у нас в Реальном тоже есть парадные мундиры — сине-зеленые с желтыми стоячими воротниками, но они не у всех, мало у кого, и поэтому не надевают их.

Потом пришло много солдат с ружьями и на лошадах. Когда все собрались, приехал губернатор. Очень маленький и круглый. В середине площади начался молебен. Очень, главное, долго молебен был. Мы все устали, а сесть нельзя. Девчонки стояли на самом солнце и все помахивали платочками. От нечего делать мы стали играть в «телефон», но Лпсенко, дурак, все время врал, и игра расстроилась. Но потом стало веселей — у Борьки Кленовского вырвали фуражку и передали вперед «к празднику» (так старухи свечки в церкви передают). Борька за ней бегал, но его не пускали. Брусников еще прицепил Кленовскому за пояс бумажный хвост. Все смеялись, а Борька, главное, не видит. Когда фуражка дошла до Сережки Феодора, он ее отнес к

Оскару Оскаровичу и сказал, что кто-то потерял фуражку. Оскар Оскарович посмотрел на нас, а мы глядим на молебен — все крестимся, ничего не заметно. Было очень весело. Чтобы Кленовскому не нагорело, Плясов сходил к Оскару Оскаровичу и сказал, что это фуражка Васильева из параллельного отделения. А Васильевых там четыре человека — не разберешь. Оскар Оскарович отдал.

Вообще молебен всем очень понравился. Потом вперед, где стоял губернатор, закричали «ура». Мы тоже закричали «ура». Гришин, главное, запоздал (всегда он точно спит или задумывается) и закричал позже всех, когда все кончили. Лоскутин и Оскар Оскарович страшно посмотрели на Гришина. Чтобы Гришину не нагорело, мы все еще раз закричали «ура». Тогда на наш класс посмотрел директор и позвал к себе Лоскутина. И тот понесся к нам. Он пробежал по нашим рядам и велел, главное, прекратить «ура» сию же минуту... Тут опять все закричали «ура», а мы, конечно, молчим. Лоскутин пробежал по нашим рядам и велел, чтобы сию же минуту кричали «ура».

Скоро все кончилось, и стали выдавать пряники и конфеты в мешочках. Мы на класс словчили сорок мешочков. По дороге восемь мешочков разделили. Тутеев и Зинка отказались от прибавки. Тутеев все-таки взял полпряника, а Зинка даже из своего мешочка угощал других. Гнушается подарками — у него дома своих много!

Праздник всем понравился. Когда я рассказал отцу, он сказал: «Да, радость большая!» И ушел за перегородку. Чего это он? Отца не водили на парад, а то бы и ему понравилось.

Сегодня перед четвертым уроком, перед геометрией, пришел директор с большущей книгой. Книга в коричневом переплете, а в середине, главное, золотая. Директор сказал, что прислали из Министерства народного просвещения эту книгу, в которой описана история царствования дома Романовых. И велели на эту книгу кинуть жребий: кому она достанется из учеников. И тут директор сказал, что в учительской сегодня кинули жребий и досталась она нашему ученику Яшмарову Зиновию.

Класс весь замолчал, а директор вызвал Зинку. Зинка нахально взял книгу и пошел к своей парте. И все тут заметили и почувствовали — и Зинка тоже, — что все это директор, главное, наврал. Почему, как — никто не знал, но что наврал, все поняли! Зинка поскорей спрятал книгу, а мы начали смотреть в учебники, как будто бы ничего не случилось...

На перемене заставили Зинку показать книгу, которая оказалась очень тяжелой и интересной. Все картинки цветные, а все царя отпечатаны золотой краской. Я потер пальцем царя Александра III, и палец у меня стал золотой. А Зинка все, главное, оправдывался и говорил: «Я всегда во всех лотереях обязательно выигрываю». А я ему говорю: «Брось, Зинка, заливать, если бы за тобою лошадь к Реальному не подъезжала — выиграл бы ты шип на масле!» А Сережка Феодор ему говорит: «Приедешь домой, бегн отцу книгу показывать — это он выиграл!»

Тут пришел Вырыпай, и книгу Зинка спрятал. Вырыпай вызвал меня к доске и задал подобие тре-

угольничков, которое я отвечал хорошо и получил четверку. Когда стер мел с пальцев, большой палец, главное, оказался золотой от царя. Какая золотая краска пристающая!

* * *

Учебники листают дни. Конец учебного года.

Солнце плавает уже в майском небе. Выйти за город — зеленые просторы. На просторах булькающая в лозняке река. Одним движением сбросить штаны, рубашку — и туда, булькая, брызгая, захлебываясь...

Но это потом, летом, на каникулы. А сейчас по всему городу: комната, лампа, учебник, зажатые ладонью уши.

...Зу-зу-зу-зу-зу...

Конец учения — надо успеть исправить колы, двойки, а может быть, и тройки. В форточку, сквозь зажатые уши, — грохот рассыпающихся «горошков»; вечерний скрип кружащегося по двору велосипеда. (Вот попросить бы покататься!)

...Зу-зу-зу... Зу-зу-зу...

В форточку — майский ветер, а под кроватью тайно склеенный хрустящий, гулкий змей. На черном ветре он взлетел бы прямо, стройно и стоял бы в небе задумчиво, наклонив голову и ласково, по-собачьи помахивая мочальным хвостом... Но нет — комната, лампа, учебник, зажатые ладонью уши.

...Зу-зу-зу... Зу-зу-зу...

Абрамку Лисенко вызвали с урока французского языка в учительскую. Бакенбардный Елисей на цыпочках, расшаркиваясь, поклонился бело-розовому monsieur Бодэ и ушел вслед за Лисенко.

В перемену весь класс — в учительской.

Есть еще совсем маленький Лисенко-приготовишка, брат. Раскосо-узкие, японские глаза, под глазами пятнышки робкого румянца.

Перед дверью учительской взбудораженная женщина со съехавшей набок прической мечется между двух трепыхающихся Лисенко.

— Вы что же это, арестанты?! А?.. Мать вызывают, позорят перед людьми, а у вас двойки!! На второй год господин наставник вас хочет оставить! А? Погибель вы моя, душеньку мою несчастную вымотали...

Взбудораженная женщина хватается направо и налево лисенковские волосы, словно на коромыслах несет ведра.

— ...несчастную вымотали... Чем я за вас платить буду?! У-у! Вот вам... вот вам...

Телегин лезет сквозь толпу прямо, настойчиво. Хватает левую руку-коромысло. Пальцы сдавили чужое запястье с двумя синими стеклянными пуговками. Крепче — как мужчина, как отец...

— Оставьте их! Пустите сейчас же!!

Крепче пальцы в чужое запястье, лицо розовеет, взгляд прямой, настойчивый.

— Пустите сейчас! — повторяет он.

Руки-коромысла теперь мечутся над Телегиным.

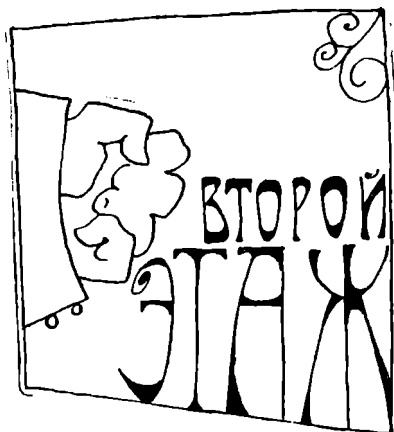
— Что-о?! Заступник явился! Кто тебе позволил меня хватать? Где господин директор?

Лисенко разбегаются вправо-влево. Правый еще бледнее, еще раскосее. У левого слезы размазывают под глазами румяные пятнышки.

...И опять по всему городу: комната, лампа, учебники, зажатые ладонью уши.

...Зу-зу-зу...

А в мыслях: последние денечки! А у реалистов-второклассников еще и такое: перейдем в третий класс — значит, перейдем на второй этаж, а там у нас будет большущий, полный рыб аквариум в коридоре...





1. Молочник, проволока и застенчивость

Бухгалтер Средне-Азиатского банка Брусников осторожно, в мягких, посвистывающих по полу туфлях прошел из спальни в столовую, сбоку шторы просунул руку и взял под открытой форточкой брошенную разносчиком газету.

Летним ранним утром спала квартира. Спущенные оконные шторы доверху были налиты густым оранжевым светом. За шторами жужжали проспавшиеся мухи. В оранжевой полутьме столовой двигался высокий, с темной бородой человек в наглухо застегнутом сюртуке.

Медленно, не стучая посудой, чтобы не разбудить семью — так приятно побыть одному в этом оранжевом мире, — налил себе чаю.

Указательный палец в сгиб газеты — легкий оранжевый взмах, хруст — газетные полотнища привычно раскрыты. Другая рука потянулась к стакану и взяла его. Но это только показалось — рука взяла фарфоровый молочник. И странно, молочник остался в руке, а газета упала на пол. Брусников посмотрел поверх молочника. Спущенные оконные шторы доверху налиты густым оранжевым светом. За шторами жужжат проснувшиеся мухи. Всё как было секунду назад — всё: шторы, мухи, чай, оранжевый мир комнаты...

Не выпуская молочника, посвистывая туфлями, — в спальню.

— Антонина! Антонина, проснись! Война... Тоня, ты слышишь?! Война с Германией!!

Из дневника Михаила Брусникова

19 августа, 9 ч. вечера

Сегодня купил толстую тетрадь и буду вести дневник. Раньше я тоже вел, но не понравилось, когда прочел, — так только дети писать могут: что ел, что пил или куда ходил. Теперь хочу записывать что-нибудь важное в моей жизни и вообще, что думаю.

У нас теперь война с Германией и Австро-Венгрией. В Реальном тоже теперь играют в войну. Вчера провожали с Телегиным на вокзал солдат. Папа сказал, что Германию победят очень скоро, а про Австро-Венгрию говорит, что она с нашу гугернию и с ней покончат в два счета.

Провожали мы солдат до самого вокзала и даже видели, как погрузили их в вагоны. Солдаты все время пели песни, и им, наверное, не страшно на войну ехать. Пели они такую песню, я запомнил немного:

В поле раненый лежал,
Вы не вейтесь, черные птицы,
Над моею больной головой...

Если бы было страшно, они бы плакали или молчали. Антошка сказал, что взрослые могут и не плакать, а в душе, может быть, и очень тяжело. «Я, — сказал он, — тоже никогда не плачу, а мне тоже бывает всяко!» Это правильно. Телегин обещал сводить меня, через отца, на Оружейный завод. Там теперь работают и днем и ночью, и мы увидим, как делают пулеметы.

С Антошкой Телегиным я дружу с первого класса, хотя папа говорит, что это ему не нравится. Мы теперь в третьем классе и потому во втором этаже. Все очень довольны. Теперь будем крыть первый этаж: первоклассников и второклассников.

Хотел вот писать дневник складно, чтобы не перебегать с одного на другое, и не выходит. У Антошки, я знаю, тоже дневник есть. У него, наверное, получше моего. Он больше меня читает, каждый понедельник берет в библиотеке книги. Но на сегодня довольно. Иду спать.

21 августа 8 ч. вечера

Хотел каждый день записывать, но пропустил, думаю, что это так и надо, раз важного ничего не было.

Сегодня был в Реальном молебне в пользу русского оружия (то есть войны), Пели «Многая лета», а потом кричали «ура». Настроение было очень хорошее, и хотелось не то плакать, не то смеяться. Служил молебен не желтый батюшка, а Епифанов. Он теперь у нас, в третьем классе, по закону божьему. Его уроки для нас самые лучшие — всем очень нравятся, и мы ждем их с нетерпением.

Прочел, что написал, и увидел, что о лете ничего не сказано. А лето я провел хорошо — ходил часто купаться и загорать, читал и раз шесть или семь был с Телегиным в летнем Благородном собрании (которое в парке). Перелезали мы сзади через забор с колючей проволокой, и раз я разорвал брюки и все время просидел на лавочке, не поднимаясь. Антошка смеялся и сгонял меня с лавочки.

В собрании была музыка и кинематограф. Раз

была очень интересная картина «В притонах Сан-Франциско», с участием сыщика Ник-Винтера. Когда всё кончалось, мы не перелезали через проволоку, а шли, как все, через ворота.

Встретили там раз Зинку с младшим братом и гувернанткой. Зинка был в белом воротничке и задался; Телегин к нему подошел и сказал: «Покажи билет, ты небось через проволоку перелез, сейчас городского кликну»...

28 августа, 9¹/₂ ч. вечера

Сейчас ложусь спать. Сегодня у меня счастливый день. Встретил В. Она шла навстречу по той стороне улицы, с женщиной, наверное с матерью. На ней (на В.) было черное платье и черная шапочка. Они стали переходить на мою сторону, где я шел. Я испугался и пошел назад. Они пошли сзади меня. Тут меня встретили Кленовский и Гришин и спросили, почему я назад иду в Реальное. Я ответил, что забыл готовальню. Пока мы говорили, В. прошла мимо нас. Мне было очень страшно, когда я рядом слышал ее шаги.

Боже, как я застенчив, но побороть себя не могу! Ведь В. меня не знает и ничего не знает; может быть, даже не видала меня никогда, а я боюсь: а вдруг догадается. О прошлой пасхе я буду теперь вспоминать всю жизнь. Как хорошо было. Я л... ее.

29 августа, вечером

Почему все-таки я застенчив? Другие ребята совсем нет. Недавно видел Митьку Пушакова с гимназисткой. Идет Митька и с ней говорит, а она смеется — и ничего. А я не только говорить, по одной стороне улицы идти с В. не могу! Кле-

новский мне показывал книгу «Воспитание воли», где сказано, что можно излечиться от застенчивости.

Сам Кленовский тоже очень застенчив. Раз было так. После урока мы все ждали внизу в коридоре библиотекаря, чтобы менять книги. А Борька Кленовский был тут же, но в раздевалке. Из коридора я заметил, что в раздевалку пришла сестра Плясова. Сестра попросила Кленовского позвать брата. Борька покраснел ужасно, но побежал и узнал, что Плясов уже ушел домой. Но пойти и сказать это сестре Борька уже не мог из-за застенчивости. Долго, красный, ходил по коридору около раздевалки: набирался смелости — так и не решился. Уже библиотекарь пришел, а он все около раздевалки ходит, а сестра Плясова ждет там. Тогда Кленовский вызвал из библиотеки меня и сказал, чтобы я передал сестре, что Плясов уже ушел. А мне Борька наврал, будто ему некогда. Я пошел, вызвал из раздевалки Елисея и попросил его, чтобы он передал сестре Плясова, что Венька Плясов уже ушел.

Надо взять у Борьки книгу «Воспитание воли», — может, поможет.

2 сентября

Сегодня видел в журнале: наши солдаты лезут через колючую проволоку на австрийцев. Вспомнил, как мы с Антошкой лазили в Благородное собрание. Но тут интереснее — кругом рвутся снаряды, а впереди офицер с пашкой.

У нас во втором этаже аквариум. Телегин стоит все перемены и крошит хлеб, за что ему влетело от Оскара Оскаровича. А он все крошит и говорит нам, что на рыб министр отпускает деньги, а их,

наверное, воруют, потому что рыбы голодные и хлеба едят много.

Новость: Бурга теперь в Реальном нет. Говорят, что его, как немца, взяли в плен. По-моему, он сам удрал в Германию; в общем, неизвестно, но только он у нас в Реальном преподавать не будет. Вот здорово! Вместо него Вобла, очень тихая, хотя, в общем, злая — она русская, но знает немецкий язык.

Уроки по закону божьему проходят здорово. Мы Епифанова ждем каждый раз. Всегда все в классе.

2. Идут уроки

Буйный, стриженный первый этаж остался внизу навсегда, бесповоротно.

...Второй этаж — среднее поколение: третьи, четвертые и пятые классы. Ломающиеся голоса. Первая расческа тайно и неуверенно елозит по голове. Ранцы у первых учеников, у остальных — лохматая стопка книг под мышкой. В книгах опально-проклятый Нат Пишкертон и нежный Иван Тургенев.

Первый этаж остался внизу навсегда, бесповоротно; но живуче неистребимо буйное, стриженое прошлое.

Половина класса — у двери, оставшиеся — за партами:

— Ну как, идет?

— Не видать что-то... А воп Вырыпай опять журнал перепутал — бежит менять!

— Ребята! Уж десять минут прошло — неужто не придет?

— Оска!.. Оска!.. Оска!..

Бегом, с раскатом — к партам. Бесстрашный Плясов еще у двери.

— Чего удрали? Оскаскарыч в уборную пошел: там пятый класс курит.

С грохотом из-за парт снова — к двери. Плясов машет рукой и идет на место.

— Епифанов?

— Нет... Семья плетется.

— Замена!

Новый классный наставник Игнатий Тихонович Семьянин неслышно, словно на ватных ногах, — в дверях класса. Вялое, пожелтевшее лицо с пугливыми ресницами. Мягкий, ватный голос:

— Господа, урок закона божьего переносится с первого на четвертый. Сейчас будет французский язык, второй урок — я, третий — русский язык. А потом уже закон божий. Никанор Васильевич служит молебен в городской управе.

— По поводу чего?

— А у нас будет молебен?

Мягко, ватно:

— Молчать!

На ватных ногах, неслышно — к двери. Осторожный скрип паркета. Пустая дверь. После его ухода хочется сидеть тихо, мягко, ватно.

Француз *monsieur* Бодэ появляется с коричневыми прямоугольными дощечками. Все знают эти дощечки, по неизбежности:

— Сильвестр Юльевич, что это такое?

Бодэ идет к окну, жмурится на солнце и аккуратно, по-стариковски, расставляет на солнечном свете дощечки. В нос, в седые усы:

— Это негатив для фотографии. Я снял вчера и фот проявляю.

Пушаков, улыбочиво подмигивая:

— Вы, наверное, какую-нибудь барышню сняли?!

Бодэ шлепает рукой по усам, выколачивает их, точно пришел с холода, со снега.

— Но! Я снимаю только старикоф, как я, и мой фнучек, как ви!

Ближний к солпечным дощечкам пунцовый Кленовский говорит обиженно:

— Вы бы хоть нас сняли, Сильвестр Юльевич... Что-то нас никто не снимает!.. Весь класс бы.

— А потом меня спросят, что это такое, а я скажу, что это сорок глупых мальчишка-шалюнишка!

Гришин меланхолично:

— Нас не сорок, а тридцать два!

Улыбка поднимает усы:

— Ну, тридцать два больваноф!

Усы опущены, улыбка закрыта. Бодэ идет к кафедре. Маленький, синемундирный, с быстрыми ножками. На ребячьей розовой голове — седая бахрома волос.

— Ну, довольно! Довольно! Надо учиться. Где моя картина?

Раскосый Лисенко размеренно поднимается:

— Сильвестр Юльевич, говорят, французские войска прорвали немецкий фронт и наступают! Правда ли это?

Бодэ машет рукой: такой глупый вопрос! Заходит за классную доску: где его картина? И за доской:

— Конечно, прорвайт! Конечно, наступайт! Хлюпий вопрос! Французы не могут отступайт!.. Где моя картина?

Дежурный по классу Сергей Феодор уже копается в углу в рулонах картин, таблиц, карт. Невидимый гвоздик на доске. Крахмальный хруп — картина раскрыта. Бодэ на кафедре с длинной желтой палкой. Палка смешно подскакивает кверху, описывает полукруг и шлепает по картине:

— *Que voyons nous sur ce tableau?*¹

Чистенький, подстриженный французский пейзаж... Полевые работы в полном разгаре. Вдали сеют и боронят. Чудесная пшеница на картине! Яростно-скороспелая. Вот влево, где полчаса назад прошел сеятель и борона, уже налились грузные колосья. Еще ближе эту удивительную пшеницу жнут, и на поле стоят веселые подстриженные снопы.

Вправо от поля, через дорогу, красивый домик с красной черепицей. Перед домом огород. Женщина в отлично накрахмаленном переднике сажает в грядку картошку, другая женщина собирает с соседней грядки клубнику. У домика престарелая, но еще привлекательная *madame* уютно варит варенье (жаровня, дымящийся таз). Озорной мальчишка (*le pelisson*) в белом твердом воротничке влез на яблоню и одной рукой срывает яблоки, а другой — кормит черным хлебом скворца, запросто поселившегося в деревянном ящичке.

Не менее чудесно небо. Далеко, слева, над сеятелем и бороной идет густой дождь (это хорошо для зерна); над жнецами висит прохладное, освежающее облачко; над клубникой и яблоней светит щедрое солнце (что без солнца клубника и яблоня?!). Но

¹ Что мы видим на этой картине?

солнце деликатно: madame и так жарко от жаровни, и солнце отгородилось от нее нежным розовым облачком...

Палка шлепает картину:

— Que voyons nous sur ce tableau?

* * *

Из дневника Зиновия Яшмарова

После француза пришел Семьянин. Об этом я и хочу написать. Семьянин нам объяснял греко-персидские войны и все ходил из угла в угол. Когда на нас шел — слышно, а когда к окнам — ничего не слышно. Очень тихо говорит. Он рассказывал про персидского царя Дария Гистаспа, про Фемистокла, Фермопилы, Ксеркса, Атику и Леонида. Но кто они — никто не понял, — о них он рассказывал тогда, когда к окнам ходил, — значит, не слышали.

Вдруг ученик Кленовский нечаянно икнул. Семьянин подошел к нему и глазами очень сильно замигал — он всегда мигает, когда злится. Он спросил: «Что такое Фермопилы?» Кленовский покраснел как рак и ответил: «Полководец». Семьянин взял его за плечо и вывел за дверь, а на пороге, когда за ним дверь закрывал, сказал: «Это страна. Есть еще Фермопильское ущелье. Выйдите из класса!»

Потом пришел Броницын и устроил неожиданную письменную по русскому языку. Не было печали, так черти накачали! Мало того, что Епифанова переменили — еще письменную! Броницына я не

люблю. Броницын ко мне всегда придирается. Наверное, злится, что директор меня любит и раз по папиной просьбе за меня заступился.

Сегодня Броницын дал изложение «Муму», сочинения Тургенева. Он сказал, что не всё, а кусочек прочтет, а мы будем писать, что запомним. Когда он прочел, мы начали писать. Я писал, писал и вдруг забыл, что дальше! А у нас «Муму» в хрестоматии есть. Я потихоньку вытащил книгу и стал читать. Вдруг Броницын ко мне подошел и взял мое недописанное изложение. Какой этот Броницын все-таки поганый — на этой неделе могут выдать баллыники, а у меня вдруг за изложение будет двойка! Скотина! Мне папа обещал подарить настоящий велосипед, если в этой четверти будут хорошие отметки. Я бы мог тогда с мисс вдвоем кататься в парке, она на своем, а я на своем, без Витьки, а тут вот двойка вдруг будет! Но если будет двойка, я расскажу тогда все отцу, пусть он с директором поговорит, — может быть, Броницына из Реального можно выгнать. Вот что было сегодня на русском. Какой противный день.

Но зато четвертым уроком был Епифанов! Я папе рассказывал про Епифанова и про его уроки. Он его знает и очень удивляется и недоволен, потому что Епифанов кончил духовную академию и должен быть хорошим учителем. И был бы хорошим, если бы не его мягкий, слабовольный характер, которым мы и пользуемся. Тут бы помогла порка, но ее в гимназиях зачем-то отменили! Это папа говорит, а по-нашему, лучше Епифанова нет!

Ученика Плясова сегодня, после русского, сестра вызвала домой, потому что к нему проездом при-

ехал дедушка, но Плясов идти отказался, так как сейчас будет Елифанов и он не может пропустить этот урок. Сегодня было как всегда. Мы уже издали увидели, что идет Епифанов...

3. Закон божий

— Идет!

Шелковый шелест. Грозные, ухающие шаги. Из открытой двери невидимый могучий окрик:

— Молитву!!

Дежурный Сергей Феодор выбегает на середину класса:

— Преплагий господи, ниспошли нам благодать ду... тво... свята... дарсс... и укрепляющ...

— Реже!

Елифанов на пороге класса, размахисто крестится. На нем красивая темно-фиолетовая ряса; голова с каштановыми волосами гордо откинута назад; заносчиво поднята борода, подстриженная ровным овалом. И глаза неустрашимо, неумолимо — вперед. Но вся эта строгость и грозность только притворство — все знают, что он добрый, мягкий человек. Тут ли не почудить!..

— ...Родителям нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу. — Сергей Феодор поворачивается и идет к себе.

Словно Епифанова и не ждали. Всё в классе так, будто нет и не будет никакого урока — по-домашнему. И после вскрика «идет», после шелкового шуршания рясы у двери и грозного «молитву!» ничто не изменилось. Встал, перекрестился и вернулся к своим будничным делам.

Каждый занят тем, чем может заняться школьник на свободе. На особой, запрещенной, а потому манящей свободе, когда преподаватель в классе, когда опасная игра со штрафным журналом, с колами по поведению....

Класс — лагерь, класс — детская.

К Гришину и Кленовскому подсел Черных. Острием пера надо ударить по тупому кончику другого. Перышко перевернется и ляжет «горбылем» — выиграл, ляжет «лодочкой» — проиграл. Пунцовый Кленовский жарко дышит. Руки потны, руки пеловки — сплошные «лодочки».

Епифанов недвижно стоит у порога двери.

У Телегина сегодня лассо (вчера прочитан «Всадник без головы»). Брусников держит копец веревки, а Телегин вертит над головой петлю. Читавший молитву Сергей Феодор садится на парту не спеша, размеренно... Что это?! Проносится перед глазами... Сжимает горло...

— Аг-ггх!!!

Судорожно, рывком собирается веревка. Сергей Феодор качнулся назад, взмахнул руками... Так «бледнолицый» в объятиях индейского лассо вылетает из седла.

...Родителям нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу...

У Пясова и Лисенко — обычное: под двумя пустыми партами, на корточках изображают собак. Кто злее. Кто свирепее рычит.

— Рррр-ы!!

— Грррры!! А-а!..

Епифанову уже не сдержать себя. Быстро — к кафедре. Журнал с размаху об стол, пощечиной.

Молниеносно раскрыт лист: «Закон божий». Ручка — в черепилницу. Ручка бежит по клеточкам.

— Телегин — кол!.. Брусников — кол!.. Плясов — кол!.. Лисенко — кол!..

И отдельно — спокойно, негромко:

— Тутеев!

Первый ученик идет к кафедре. Елифанов тем же безмятежным голосом:

— Что сегодня?

— Сегодня, батюшка, «Лица, совершающие богослужение».

— Отвечайте!

Тутеев набирает воздух и залпом, на одном выдыхании:

— ...Богослужение в храме божием совершается священнослужителями, особо для этого избранными и посвященными. Таковы: епископ, священник и...

Телегин с Брусниковым пробираются к пустым рычащим партам. Телегин, скрючиваясь:

— Плясов, Лисенко, по колу нам поставил!..

— Рры-аа!!!

— Брось дурака валять, идем зачеркивать!

Из-под парты красное, взъерошенное:

— Чего?

— Колы, говорю, поставил.

— А-а... Идем!

Двое становятся налево от кафедры, двое — направо. Тутеев — в середине, залпом:

— ...при освящении их дьякон получает меньшую степень благодати, священник вдвое большую, а епископ самую высшую. «Дьякон» — слово греческое и значит...

— Батюшка, зачеркните кол! — слева.

— Батюшка, зачеркните! — справа.

Ни слева, ни справа будто никого нет. Есть только Тутеев. Епифанов Тутееву неестественно громко, бодро:

— Ну хорошо — это знаете... Что еще на сегодня?

— «Священные облачения лиц, совершающих богослужение».

— Отвечайте.

— Батюшка, зачеркните! — слева.

— Батюшка, зачеркните! — справа.

— ...в отличие от обыкновенных одежд, они украшаются крестами. Одежда дьякона — стихарь, орарь и поручи...

— Ба-а-тюшка, за-аче-е...

И вдруг заметил: слева — двое, справа — двое. Епифанов тыкает рукой влево, вправо; в плечи, в спины:

— На места, на места-а, хулиганы! Не зачеркну, пусть родители вас пропорют за колы...

— Батюшка, зачеркните, мы же...

— На места, на места, потом!..

— Ба-а-тюшка, вы при нас!

— Пошли, говорю!

— Заче-еркните...

Епифанов стремительно хватает ручку, сухое перо бежит, царапая колы в клеточках.

— Батюшка, вы обмакните.

Ручка в чернила. Около колов появляются непонятные, раздражающие точки: точка, точка, точка... Епифанов разваливается на стуле:

— Итак, Тутеев, дальше.

— Батюшка, зачеркните! Что это за точки?..

Вскакивает, громово:

— На места, мерзавцы!!!

Ручка в чернила, ручка бежит по клеткам — ко-
лы зачеркнуты.

— Тутеев, дальше!

— ...Белый цвет подризника напоминает свя-
щеннику, чтобы он всегда имел чистую душу и про-
водил беспорочную жизнь...

* * *

Глаза рыщут по журналу. Остановились.

— Черных!

Ладонь прикрыла перышки (не спутать бы, не
нарушить игру).

— Батюшка, я отказывался, я сегодня не приго-
товил урока.

— Когда это отказывался?

— Перед уроком.

— Кол!

Черных вскакивает. Ладонь на парте, на пе-
рышках.

— За что же кол? Я же!..

— Сиди, сиди, только не подходи. Аркович!

— Батюшка, я тоже отказывался... Как молит-
ву прочли, я отказался.

— Гришин!

Исподлобья, категорически:

— Я отказывался.

— Жениться скоро, а все отказываешься!.. Ну
хорошо, не подходи только. Жучков!

Жучков — спасенье. У Жучкова каждый год но-
вые учебники по закону божьему. У Жучкова —
маленькая тетрадочка со всеми тропарями и мо-
литвами. У Жучкова — отличное тяжелое еванге-
лие.

— Дальше об одежде архиерея.

— ...Сверху саккоса архиереи еще носят амфор, что значит наплечник. Это есть длинный широкий плат, украшенный...

...Первый этаж остался внизу — навсегда, бесповоротно. Но живуче неистребимо буйное, стриженое прошлое... Класс — лагерь, класс — детская. Веселая дань первому этажу. Вот, например, Жучков. Разве можно терпеть, что этот зубрило-мученик отвечает урок! Стоит за передней партой и, как заведенный, монотонно, без передышки...

Длинноногий Плясов перемигивается с Телегиным и тихо, бесшумно опускается под свою парту. Он на животе, по-пластунски, ползет под партами вперед. Над ним свешиваются чьи-то ноги, он их отводит, как пловец отводит водоросли. Нет. Он не спутает ноги: свешиваются ноги сидящих за партами, а ноги Жучкова ведь стоят на полу.

Епифанов, конечно, ничего не замечает. Одним глазом — на отвечающего Жучкова, другим — на далекую парту, где Черных и Кленовский играют в перышки. В сравнении с другими — тут тихо, безобидно (подумаешь, перышки!), но вот сейчас эта парта содрогнулась, пришла в движение и, будто в нее вставили мотор, поползла через весь класс к окну. Оказывается, игра в перышки кончилась и Черных с Кленовским теперь играют в автомобиль, которые в этом году появились в Т-е...

Оставив Жучкова, Епифанов сбегает с кафедры, вытаскивает из парты-автомобиля Черных и, откинувшись влево — так несут ведро с водой, — тащит его к двери. На ходу сквозь зубы:

— Черных... Белых... Красных... Желтых... Рыжих... Пшел вон из класса!!!

С той же приговоркой, которая всем нравится и всех смешит, Епифанов волочит к двери рыхлого, пунцового Кленовского:

— Кленовский... Берёзинский... Дубовский... Стоеросовский... Пошел вон из класса!!

Кленовский выкрикивает: «Батюшка! Я хочу... отвечать урок... у меня... у меня отметки в четверти нет!» — но всё равно выбрасывается за дверь.

...Теперь пора!

Епифанов идет от двери к кафедре медленно, спокойно, будто ничего и не было. На ходу подбадривает Жучкова, стоящего за партой.

— Дальше, Жучков! Дальше!..

— ...получает меньшую степень благодати, священник вдвое большую, — без передышки долдонит Жучков, — епископ самую высшую... «Дьякон» — слово греческое, и оно обозначает...

Но тут раздается грохот, и Жучков исчезает. Только стоял, отвечал урок — и нет (китайцы-фокусники: «Только что было — только что нет!»).

Епифанов не сразу — где, почему грохот, — отвлек Лисенко с каким-то клубком ниток, и он — к нему... Но вот навстречу Епифанову из-за своей парты со скорбным, потемневшим лицом встает Телегин.

— Батюшка, — говорит он, и в его черных, запавших глазах ни смешинки, — у нас несчастье!..

Епифанов быстро от Лисенко — к Телегину:

— Ка-а-кое еще несчастье?..

— Жучков пропал... Один из лучших учеников класса...

— То есть как пропал?! — Епифанов оторопело смотрит туда, где был Жучков. — Он только что отвечал...

— Да, батюшка, — Телегин горестно вздыхает, — только что отвечал...

Но Епифанову уже не до этого: в руках у Сергея Феодора он замечает книжонку в пестрой обложке. И — туда. Так и есть: в углу цветной обложки — мумийный профиль Шерлока Холмса с трубкой в зубах и заглавие: «Кровавая вдова».

— Ах, пинкертоны читать! — Книжонка разрывается пополам. — Ах, пинкертоны читать! — разрывается на четыре части, на восемь...

Потом еще — на шестнадцать... Епифанов несет клочки «Вдовы» к открытой форточке, но опять из-за парты встает Телегин — на этот раз с веселым, просветленным лицом.

— У нас радость, батюшка! — говорит он. — Жучков вернулся! Один из лучших учеников класса...

Плясов устал держать Жучкова под партой и отпустил его. Тот сейчас стоит по-прежнему, только одергивая серую форменную рубашу, поправляя ремень...

— Жучков, ты что же?! — Епифанов ходит вокруг него с удивлением. — Ты где же?..

— Я здесь, батюшка...

— Дальше, Жучков, дальше!

Жучков набирает воздух, заводит глаза к потолку и снова розово-сияющий — без запинки:

— ...священник вдвое большую, а епископ самую высшую... «Дьякон» — слово греческое...

* * *

Дверь приоткрывается.

— Батюшш...

— Закрывать двери!

— Батюшка, я хочу вам отвечать. Разрешите войти!

Над пунцовым Кленовским, разрезая дверную щель, лицо Черных.

— Почему не всех выгнали? Здесь скучно!

— Закры...

Епифанов уже у двери: Кленовского за рубашку — в класс, Черных тычком в лоб — за дверь. Звенит дверное стекло.

— Отвечай!

Толстый Кленовский стоит влево от кафедры. Обводит класс глазами и громко, с одного дыхания:

— «Сошествие святого духа на апостолов»... В пятидесятый день по воскресении Иисуса Христа апостолы вместе с божьей матерью находились в одной комнате и...

— Что за чушь! Почему «Сошествие святого духа»? Это вы проходили в прошлом году!! Не знаешь?..

Но взгляд уже через Кленовского — в конец парт: там играют в жмурки. Это уж черт знает что!

У Плясова платок на глазах, разведены руки. Пощипывая, подергивая, кружится вокруг него живучее стриженое прошлое. Грозный, свистящий шелест рясы. Ногти — больно в плечо. Епифанов, отгибаясь влево — так несут ведро, — тащит Плясова к двери. У того еще платок на глазах: спотыкается, грохает о парты. К двери, к двери...

— Плясов... Танцующий... Балетников... Свистоплясов... Пляска святого Витта — шел вон из класса!!!

Кленовский меж тем бойко, без передышки отвечает прошлогодний урок:

— ...И вот в третьем часу от начала дня вдруг

послышался шум с неба и наполнил тот дом, в котором они находились. Дух святой в виде огненных языков сошел на каждого из них, и все они...

Епифанов цепко хватает ускользящее:

— Брусников... Клубников... Волчьи ягоды... Вот те клюква... будьте добры — шел вон!!

И третьего, который играл в жмурки, — к двери, к двери...

— Телегин... Каретников... Бричкин... Тарантасов... Турусы на колесах... Шел вон!!

Раскосого юркого Лисенко Епифанов ловит в воздухе, на лету, как бабочку.

— Лисенко... Собаченко... Лошадеенко... Бульдоженко... Осленко... Шел!!

В последний раз звенит дверное стекло. На партах опустошение — свободные, нежилые места. Епифанов устало поднимается на кафедру, изнеможенно вытягивает ноги, но, косясь на отвечающего урок Кленовского, — спокойно, ровно:

— Я вас слушаю... Дальше...

И Кленовский тоже спокойно и проникновенно, будто ничего не произошло, продолжает свое прошлогоднее:

— ...слышавшие это умилились сердцем и сказали Петру: «Что же нам делать?» Петр сказал им: «Покайтесь и креститесь...»

Фиолетовая ряса вдруг приходит в движение и с кафедры в дебри парт и голов:

— Покайтесь!.. Покайтесь!.. Ах, вы уже здесь?!

Из дебрей высовывается нога с расшнурованным ботинком, живот, два пальца с обгрызенными ногтями, потом голова. Епифанов хватается за шиворот, встряхивает. Сквозь зубы — переливчатое, ласково-злое шипение:

— Ах, Плясов-Свистоплясов, вы уже здесь? (Нога с расшнурованным ботинком цепляет за парту.) Как я рад!! Не забыли вы нас. (Пальцы все крепче и крепче.) Как мы по вас со-со-скупчились (вот и дверь)... Пшел!!!

Кленовский от кафедр:

— Батюшка, я кончил.

— Кончил... Гмм... Ну как?

— Хорошо, батюшка, все знаю. Без запинки отвечал.

— Ну иди, иди... — Ручка выпарапывает в журнале «четыре».

— Батюшка, почему же это четыре, когда я...

— Молчать! Поговори еще! — Около «четырех» появляется плюс.

— Зачем же, батюшка, плюс, когда его в четверти все равно считать не будут... Без запинки...

— Тропарей не знаешь!

Четвёрка с плюсом перечеркнута. Рядом появляется худосочная, призрачная пятерка с двумя минусами.

— А вы, батюшка, не спрашивали.

— Потому и не спрашивал, что не знаешь!

— Балльники могут не сегодня-завтра выдать, а вы тут минусы наставили.

— А ты учись! — Один минус зачеркнут.

— Я и учусь... без запинки...

— Пошел, каналья, на место! — Второй минус тоже зачеркнут.

— Батюшка, только получше минусы зачеркните, а то получилась пятерка с двумя плюсами — классный наставник не поверит, подумает еще, что я сам себе такую отметку поставил...

Язык колокольчика радостно мечется вниз.

— Дежурный, молитву!

Елифанов встает, поворачивается к иконе, размахисто заносит руку на лоб. Но рука остается в воздухе.

— Где дежурный?

Неистребимый Плясов сообщает доверительно, участливо:

— Вы, батюшка, дежурного Феодора выгнали.

— Позвать!

— Я здесь, батюшка.

Книжечку в пестрой обложке — быстро в карман. Это уже не «Кровавая вдова», а «Тайна небоскреба». Сергей Феодор идет к иконе и на ходу:

— Благодарим тебе, создателю, яко сподобил еси нас благодати твоея, во еще внимати учению... и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость в продолжении учения сего!

4. Три письма

З д о р о в о, М и ш к а !

Ты небось думаешь, что я заболел, потому что в класс не хожу. А я, между прочим, здоров. Только я не в городе, а под городом — в деревне Нижние Кожемяки. Живу у тетки. Но ребятам ты об этом не говори, а Семьянину ни за что. А то, главное, мать от него узнает. С матерью я, между прочим, поругался — оттого я и к тетке удрал. Последний раз принес балльник, а балльник у меня, главное, как раз хороший вышел, только одна двойка замешалась. Мать взъелась на меня да скалкой на меня замахнулась. Замахнулась и по плечу ударила. А я

ей и говорю: «Дураков нет, чтобы бить, я теперь не маленький. Побили и отдохните!» Скалку вырвал да со злости отшвырнул. Только отшвырнул, главное, нехорошо: два оконных стекла (нижних) вышиб да пузырек со скипидаром, что на окне стоял, тоже кокнул. Мать за скипидар очень расстроилась — и на меня, за волосы. А я к волосам ее не подпустил. Побежал черным ходом на улицу, потом подумал и пошел к тетке пешком — тут недалеко, версты четыре от города. Пускай теперь сама себя бьет! А я тут отдохну. Отца, конечно, жалко, он тут, главное, ни при чем, но я ему с теткинм сыном, он тоже на Оружейном работает, послал записку и все объяснил, что и почему. Но матери просил не говорить, где я. Пусть помучается, — может, я на войну уехал. Зато, главное, в другой раз ей на скалку смотреть противно будет! А здесь ничего себе, книжки всякие у теткинго сына читаю. Пиши, как у вас там дела. Газет сын не приносит. Напиши, кто победил под Барановичами. Мы или германцы? Напиши, что передвинуто на классной карте на австрийском фронте. Ребятам про меня ничего не говори, а Семьянину я сам что-нибудь придумаю сказать, когда вернусь. Адрес мой такой: станция Салатово. Деревня Нижние Кожемяки. Анастасии Андреевне Телегиной. Передать Антону.

Ну, пока. А. Телегин.

* * *

Антошка, ура! Взяли Перемышль! А ты, дурак, там сидишь и ничего не видишь. В Реальном был благодарственный молебен и пели «Многая лета».

Ура кричали. Еппфанов на «Многая лета» сорвался с баса на козлетон. Приготовишки, болваны, засмеялись. В такой момент — и смех! Ведь Перемышь взяли! Отпустили нас с третьего урока.

Но это еще что, а ты там сидишь! В прошлый четверг проезжал по городу, угадай кто... Император Николай Второй!!!

Мы узнали об этом только в среду. Нас, «потешных», в среду же собрали вечером в Реальном, построили, проверили, дали наши ружья и сказали, как отвечать царю, если он с нами поздоровается или что-нибудь спросит. В зале был тот новый, который по гимнастике теперь, еще Оскар Оскарыч и Кирилл Кириллыч. Тот, что по гимнастике, гонял нас по залу. Оскар Оскарыч смотрел, что получается, а Кирилл Кириллыч потом изображал царя. Мы все стоим в струнку, — вдруг входит Кирилл Кириллыч и говорит нам: «Здорово, реалисты!» А мы все хором отвечаем: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» Кирилл Кириллыч, наверное, Оскара Оскаровича побаивался, потому что говорил не по-царски, а тихо, в кулак. С другой стороны, царя изображать трудно...

Ну, ладно, это в среду. А в четверг мы с утра уже стояли перед Реальным в две шеренги. Одна на нашей стороне, другая на той, где писчебумажная лавчонка. После нас, до самого вокзала, солдаты стояли и городовые. За нами, конечно, толпа, потому что царь поедет с вокзала на другой вокзал и в городе останавливаться не будет, и если тут его не увидишь, то нигде не увидишь. Но мы публику, конечно, осаживаем на тротуар, вроде как городовые или жандармы.

Тут какой-то господин, в шляпе и с длинными усами, прошел сзади шеренги и предупредил, чтобы мы стояли крепко, не раздвигались и чтобы никого не пропускали сквозь шеренгу. Левка Гришин мне шепотом на ухо сказал, что это, наверное, сыщик охраняет царя, потому что бывали случаи, когда в царя бросали бомбу. Здесь я вспомнил картину, которую видел в «Ниве»: царь лежит на снегу, бомба взрывается, карета подскакивает, а лошади падыбы.

Тут какая-то старушка между мной и Левкой протиснулась и сказала, чтобы ее пропустили на ту сторону перебежать, — ей как будто бы домой надо. Мы ее не пустили. А я ей говорю: «Может, вы бомбу бросить хотите, а нам за вас отвечать!» Старушка очень испугалась, закрестилась и что-то нам хотела сказать, но стала запкаться, так что не разобрать. Я Гришина спросил, что она говорит, но он тоже не понял. Потом старуха сказала: «Охальники» — и ушла куда-то.

Стояли мы очень долго и всё на вокзал смотрели, но никого не было. Только офицеры на лошадях проезжали то сюда, то туда.

Оскар Оскарыч послал Кирилла Кириллыча на конец шеренги. Кирилл Кириллыч пошел перед нами. Зубрила Жучков, подлизал, вдруг ему из строя, где разговаривать не полагается, говорит: «Здравствуйте, Кирилл Кириллыч!» А Кирилл Кириллыч мотнул головой и на ходу отвечает: «Здравствуйте!» Мы подумали, что он опять репетирует, и отвечаем хором: «Здравия желаем ваше императорское величество!» Напротив в шеренге засмеялись, а зато публика, которой не видно было Кирилла Кириллыча, бросилась на нас сзади и стала напирать, что-

бы увидеть «императорское величество». Опять та же старуха вынырнула и спросила: «Где царь-батьюшка?» Гришин показал на идущего Кирилла Кириллыча. Старуха опять сказала «охальники» и ушла куда-то. Тут подошел Оскар Оскарыч и сказал, что мы будем оставлены на час без обеда.

Вдруг проехал на паре полицмейстер. За ним жандармы на лошадях. Тут все зашептали: «Едет! Едет!» Очень много карет и ландо проехало, а в которой царь — неизвестно. Вдруг, видим, стоит в ландо наш губернатор. Помнишь, которого мы на Соборной площади видели? Стоит губернатор спиной к кучеру и честь кому-то отдает. Тут слышим, «ура» кричат. Мы тоже «ура», а ничего не видим. Вдруг белые лошади несутся. Лошади мне очень понравились — красивые, гладкие, блестящие, и ноги у них черным перевязаны. Хвосты коротенькие и пушистые. Потом, смотрю, кто-то белым платочком машет. Это царь. Царь мне тоже очень понравился, на мундире у него много медалей и орденов. Быстро проехали, да еще офицеры, которые вокруг, загородили. А Гришин совсем из-за этих офицеров царя не увидел, хотя теперь врет, что видел.

Ну, вот и все. Приходи, Антошка, в класс поскорее! Зовут ужинать, иду.

Хотел больше уже не писать, но вот напишу еще. А все-таки, Антошка, нам теперь в Реальном живется лучше, чем раньше. Сейчас за ужином папа рассказывал, как учился его отец, мой дедушка. Было это в 1850 году и позже; тогда, оказывается, в гимназиях драли розгами и линейками по рукам. Но поролли до пятого класса, а как в пятый перешел, нельзя было пороть. Зато при переходе из четвертого в пятый класс драли всех розгами поголовно,

ни за что ни про что, — на всякий случай в будущем. Вот какие порядки были!

Дедушка рассказывал папе такой случай: одного ученика ежедневно пороли. Раз спустили с него штаны, а он оказался в панцире, то есть в сплошных кожаных трусиках. Сделал это ему его отец, который его жалел. И трусики были так ловко устроены: чтобы расстегнуть, у них была хитрая шнуровка и на конце замочек. А ключ, конечно, у ученика, в случае куда пойти. Учитель потребовал у ученика ключ, а тот не дал, говорит, дома забыл.

А потом вот еще какой случай. Был один ученик, очень большой и здоровый, а папа и мама у него были маленькие и худенькие. Они с ним справиться не могли. И они делали так. Утром его папа шел в свой кабинет и писал письмо, потом запечатывал и отдавал сыну: «На! Как придешь, передай господину директору». Сын, ничего не подозревая, шел в гимназию и передавал директору письмо. А в письме было написано, как мой папа говорит, вот что (я папу попросил два раза повторить):

«Многоуважаемый господин директор! Обладая хрупким телосложением и не имея физической возможности собственноручно посечь моего сына, который имеет нрав злой и дерзкий, припадаю к вашим стопам: не откажите в милости, распорядитесь, чтобы моего вышеозначенного сына высекли».

Вот как мне папа продиктовал. И говорит, ученика, конечно, секли, а он, дурак, до того был забит, что не знал, за что и кто ему эту свинью подложил. Я бы, если ко мне подступилсь, дал бы им всем по морде! Все-таки хорошо, что таких правил в Реальном уже нет. Теперь лучше.

Иду спать: уж поздно. Завтра опущу письмо. Приходи, Антошка, в класс поскорее.

До свидания. Миша Брунников.

* * *

Здорово! Пишу я тебе зря, так как послезавтра в Реальное податься собираюсь. Но все-таки напишу, а то, главное, еще забуду. Ты, Мишка, болван! Почему это, по-твоему, теперь лучше в Реальном? Потому что в Реальном не порют? Это верно. Но ведь, главное, дома-то нас дерут, наказывают, без обеда оставляют, за волосы да за уши таскают. Чего же лучше? Не важно, где это происходит! Пока тебе отец твой рассказывал, ты нюни распустил, ушами, главное, хлопал. А вот принесл твоему отцу балльник с колами да с двойками — он тебе пропишет не хуже! Забыл, что ли? Двоек давно не получал! Если бы было лучше, я бы сейчас дома сидел, а то вот, главное, тут болтаюсь. Я читал, что какой-то министр розги в гимназиях да в реальных отменил. А про дом, главное, он забыл! Что тогда, что теперь — из-под палки мы учимся! А ты говоришь, лучше — и нюни распустил!

Ну, пока. А. Телегин.

5. Журналы

Учебники листают дни, месяцы, годы.

Парта — привычные черно-желтые плоскости (не глядя сел, не глядя встал) — уходит. Уходит вместе с классом, программой, второгодниками.

Новая парта — старое сочетание новых черно-желтых плоскостей (ноги смешно болтаются под партой, локоть высоко, — прежде чем сесть, надо пригладеться).

Первый этаж все дальше, глуше. В перемену — петушинные кучки спорщиков: планы, жизнь, книги. Мысли — самоуверенной ощупью...

* * *

Из дневника Антопа Телегина

14 января, суббота

Давно я не писал: все занят журналом. Вот о журнале. В нашем четвертом классе будет журнал «Весна». Во всем Реальном есть еще один журнал, в шестом классе, называется «Пламя». Но мы шестиклассников, главное, общелкали: у них рукописный, а у нас будет на гектографе, в двадцати экземплярах.

Работаем мы четверо: Кленовский, Гришин, Брусников и я. Мучаемся здорово. Ребятам пока ничего не говорим, поэтому решили написать весь журнал сами.

Кленовский написал рассказ «В поле». Как он на сенокосе был и как его собака, главное, укусила, а кроме того, рассказ о том, что в жизни надо стремиться вперед, а не стоять на месте. Кленовский говорит, что это не рассказ, а статья. После этого мы решили: если не описываются люди и вообще, так это — статья, а если люди или животные — это рассказ. Кленовский подписался под своим сочинением «Брянский».

Гришин написал рассказ под названием «Как

хороши, как свежи были розы» — это как один парень влюбился в дочь купца, а у той, главное, был жених-офицер. Гришин сам рисунки нарисовал к рассказу. Офицер только плохо вышел, — похож на Лоскутина. Кроме того, он же написал статью, которую назвал «Хлеб», где он пишет, что хлеб не только тот, который мы едим, но, например, картина, книга или театр, — это тоже хлеб, но духовный. Еще Гришин написал стихи очень длинные, о каком-то виденном сне. Они так и назывались «Это был лишь сон». Мы все очень удивились, что Гришин стихи может писать, а главное, длинные. Гришин подписался подо всем «Святослав».

Брусников написал статью о том, чтобы при Реальном открыли шахматный кружок и чтобы четвертый класс, главное, пускали на занятия физического кружка. Еще он написал рассказ, который назывался «На страстной неделе», но потом взял его от нас и, главное, даже читать не дал. Вместо этого он принес другой рассказ, «Приключения в Африке», — это о том, как англичанина съел крокодил. Гришин сделал к рассказу рисунки, но крокодила нарисовал почему-то с усами, вроде как сом в нашем аквариуме. Мы с ним поспорили, а он, главное, говорит, что есть такая порода крокодила, которая с усами. Ну, черт с ним, пускай с усами! Брусников хотел подписать одной буквой «Б», но Гришин ему придумал псевдоним «Леопардов».

Я написал тоже. Написал статью, зачем и почему нам нужен наш журнал, какие цели и что из этого выйдет. Потом портрет Некрасова через копирку перевел. Когда все собрали, вдруг увидели, что о войне, главное, ничего нет. Тогда я написал рассказ о том, как делают для войны пулеметы на

Оружейном заводе, что я сам видел. Потом мы с Мишкой Брусниковым написали вдвоем воспоминание, как провожали солдат на вокзал. А Гришин карикатуру на Вильгельма. Я подписался «Громов», а что с Мишкой вместе — «Леогром». Вроде иностранца, главное, получилось!

Написать написали, а вот печатать как? Занялись гектографом. Гришин достал рецепт, как его изготовить. Собрали деньги и купили желатину, глицерину, чернил и прочего. Собрались у Гришина на квартире, в конце города. Я дома сказал, что ночевать не приду. Отец, главное, спросил — почему. Не хотелось говорить, а отцу сказал. Смотрю, вдруг отец посерьезнел, повел меня к себе за перегородку. Спросил, что мы печатать будем. Я ответил. Отец попросил, чтобы я подробно рассказал, о чем в статьях и рассказах говорится. Я все подробно выложил, только о себе не сказал, чтобы не смеялся.

— Всё? — спросил отец.

— Всё, — говорю.

— Ну, это ерунда. Иди печатай, я думал что другое...

Я спросил:

— Почему ерунда?

А отец поправляется:

— Я не так сказал. Не ерунда, а забава!

— А что же это «другое», о чем ты говоришь?

— «Другое» — это другое. На это не отпустил бы. Учись сперва. А то голова закружится, как у мухи над борщом, и в борщ! Никому пользы.

Я уж знаю, если пошел отец пословицами или поговорками уши туманить — значит, не скажет. И я говорю отцу:

— По-твоему, значит, ерунда, что мы печатать будем. А вот посмотрим! В печатном виде все Реальное читать будет!

А отец отвечает:

— Ну, иди, иди... Только, между прочим, окна одеяльцем закройте, когда печатать будете, а то за гектограф нагорит: не разрешается иметь размножающие приборы.

— Об этом мы уж слышали, — говорю я.

— Ну, тем лучше. Иди. А по какому адресу идешь? В случае, арестуют, — в чьем участке искать?

А сам улыбается — петрушку валяет. Я адрес ему сказал и ушел.

Собрались у Гришина на квартире, у него в комнате. Мать его за стеной, и мы на свободе. Кленовский, Бруспиков стали гектографскими чернилами все рассказы и статьи переписывать, а я с Гришиным взялись готовить гектограф. Из кухни достали миску и противень, на чем кулебяку пекут. Развели в миске желатин, глицерин и порошки всякие. Поставили вариться на таганчик у загнетки. Потом сняли, вылили на противень и в снег спустили, застудили. Очень, главное, красивый гектограф вышел, вроде желтого холодца-студня. Окна закрыли: одно Гришиным одеялом, а другое нашими шпелеями. Как окна закрыли, вдруг почему-то все стали говорить шепотом. Точно, главное, фальшивые деньги печатаем.

Взяли переписанную первую страницу — как раз с моей статьей о журнале и с заголовком «Весна», — приложили к гектографу, платком приладили. Сняли. На студне все правильно — только обратно, справа налево, надо читать. Мы все очень обрадовались. Приложили чистый лист. Опять платком. Сняли

лист п... к черту! Ничего не поймешь, весь лист фиолетовый, буквы расплылись. Сели и стали обсуждать: как быть? Кленовский сказал, что недоварили гектограф. На этом и порешили. Растопили его, варили, варили — и в снег. Приложили вторую страницу с «Как хороши, как свежи были розы» — еще хуже! Гришин даже ругаться стал, зачем страницу прикладывали, можно было бы исписанным кусочком попробовать. А теперь, главное, и первую и вторую страницу надо заново переписывать. Тут мы в панику ударились. Уже два часа ночи, а мы с гектографом все возимся. Ни одной страницы нет, а всех восемнадцать штук! Когда же успеем? Хотели, главное, нарочно всю ночь проработать, чтобы утром в Реальное журналы припести.

Вдруг стук в окно.

— Полиция!

Гришин хватается гектограф — и под кровать, я переписанные листки за какой-то дедушкин портрет прячу. Брусников на лампу дует, а она, главное, гадость, не тухнет, только огонь в ней пузырится. Кленовский, смотрю, побледнел и Гришины учебники нам в руки сует.

— К экзамену готовимся, говорите!

Гришин пошел дверь открывать, а мы сидим, носом в книги, и вслух: «Бу-бу-бу-бу...»

Смотрю, Гришин с мужчиной входит. В сенцах темно, не разобрать. Мужчина спрашивает:

— Тут, что ли, печатают?

Гришин со страху заикается, но, между прочим, петрушку валяет — говорит, что никто ничего не печатает. Я, конечно, голос узнал. Вошел мужчина в комнату. Я сказал:

— Не бойтесь, ребята, это мой отец пришел.

— А мы в панику — думали, полиция!

Отец смеется:

— Дурачки! Разве полиция в окно стучится? Чтобы вы, что есть, попрятали? Она, брат, прямо в дверь ломится.

Тут отец обернулся и говорит:

— Я пришел посмотреть, как печатаете, все ли в порядке, а вы, видать...

А я говорю:

— Спрятали.

Показали мы отцу наше варево и испорченные листы. Отец отломил кусочек гектографского студня, растер между пальцев, понюхал, к огню поднес, а потом говорит:

— Телята вы неумытые! Глицерину переложили, вот и плывут чернила. Отрезайте кусок студня, прибавляйте желатину, варите снова. Химики-умники!..

Тут дело быстрее пошло. Пока гектограф варили, отец рассказы и статьи почитал. Я, главное, не уследил — и мой тоже (Брусников, чудило, сказал ему, что я — «Громов»).

Отец буркнул:

— Про себя-то не говорил. А вот об Оружейном и о пулеметах писать нельзя, даже в вашем журнальчике, — военная тайна. Выкидывайте вон! Вот и цензор вам, спасибо, нашелся.

Жалко было, но выкинули.

Гектограф остудили и приложили пробный кусочек. Хорошо получилось — все ясно. Смыли, взяли третью страницу — продолжение «Как хороши, как свежи...», с рисунком офицера. Тоже ядовито.

Начали печатать. Офицер, главное, отцу понравился. Он сказал:

— Я бы такого ни в жизнь не нарисовал бы. Учат вас все-таки!

Когда напечатали двадцать оттисков, прямо не поверили, что это мы сделали. Берешь, читаешь — как газета: буквы печатным шрифтом, только синие. Ядовито! Но больше не печатали — носом клевать стали: три часа уже было. Отец сказал:

— Кончайте, а то с сонной одурью все намажете, переделывать придется.

Разошлись по домам. Сегодня не печатали — отсыпались и уроки к понедельнику готовили. А завтра, в воскресенье, с утра и до ночи.

17 января, вторник

Воскресенье проспидели, понедельник просидели — а все еще, главное, не кончили. А мы-то думали — в одну ночь! Сегодня, наверное, кончим: осталось «Приключение в Африке» и «Хлеб». Да еще обложку. Прямо, главное, не знаешь, какую обложку!

Гришин говорит: надо женщину с распущенными волосами — это и есть «Весна». Кленовский предлагает грачей нарисовать по всей обложке, врассыпную, потому что весной грачи, главное, прилетают. Брусников говорит: ведь слово «Весна» не буквально надо понимать, а переносно. Он предлагает нарисовать мчащийся паровоз, что будет означать, что мы идем вперед.

24 января, вторник

Сегодня уже пять дней, как вышел журнал, а его всё еще ребята читают. Спрашивают, кто что написал. А мы ходим петухами и не говорим.

Показали журнал Броницыну. Он его дома чи-

гал. На полях красным отчеркнул, ошибок до черта, а еще четвертый класс! Будь это классное сочинение — была бы за журнал двойка. Но поправилось, что вот сами, главное, придумали и сочинили. Насчет статей сказал, что в мозгах у нас заворот, но это пройдет. Фамилии наши ему не понравились, он сказал:

— Что вы, парикмахеры, что ли, что такие псевдонимы выбираете?!

В общем, сказал писать дальше и показывать ему. Посоветовал больше читать и выписывать в тетрадку те места, которые очень понравятся.

Сдуру мы Семьянину показали. Тот его на следующей же перемене вернул и сказал, на нас не глядя, шепотом:

— Чепуха-с! Боловство! Уроки надо учить!

Другим мы уж совсем не показывали — ну их!

А ребята читали и из пятого и из шестого классов. Те, которые «Пламя» (рукописный, в шестом классе) пишут, рот разинули. Но когда прочли, сказали: «Молодо-зелено, вам еще диктанты писать!» После этого они, главное, стали свое «Пламя» всем советовать читать! Но наш больше понравился. У них только обложка цветная, от руки красками разрисована. Им это можно — у них 2 экземпляра, а у нас 20.

С обложкой у нас вышло так. Каждый на своем настаивал. Тогда решили, чтобы не обидно было, нарисовать и женщину с распущенными волосами, и грачей, и мчащийся паровоз. Гришин, главное, взялся рисовать. Но у него только грачи ничего получились, а женщина вроде растрепанной ведьмы, и одна нога, главное, короче другой. Поезд тоже не вышел — набок как-то, а колеса вроде лимонных

ломтиков и вкривь — прямо крушение. Тогда всё, конечно, к черту послали, сделали просто один крупный шрифт «Весна» и внизу загогулилку — виньетку. Вот и все. Просто и ясно.

29 января, воскресенье

Вчера вдруг приходит в класс Сергей Феодор с очень, главное, таинственной рожей. Смотрим, разворачивает сверток и раздает... журнал. Новый журнал!!! Называется «Солнце». Мы, конечно, смотреть. Размёр его в два раза меньше нашего, но много рисунков. Тоже на гектографе. Все больше рассказы. Статья только одна впереди, после заголовка, — называется «Почему бывает извержение вулканов». Два рисунка с вулканами. Фамилии тоже, главное, ядовитые: «Рыкалов», «Аргентинский», «Красавин». Мы узнали, что в журнале писали: Лпсенко, из параллельного Умялов, Тутеев, потом кто-то из пятого класса и, конечно, сам Феодор. Особенно, главное, один рассказ очень понравился. Называется «Крепость на дому» — это о том, как один гимназист играл дома в войну и как всем это понравилось, что и отец с матерью стали играть: натянули между комнатами колючую проволоку, и каждая комната была крепость.

Очень смешно и здорово написано! Я его два раза прочел. Интересно, главное, кто его написал?! Подписано «Аргентинский» — кто это?

2 февраля, четверг

Сегодня пришел в класс Лоскутин и сказал, что господин директор просил показать наши журналы. Мы обрадовались: что-то директор скажет? Понравится ли? Отобрали самый лучший и ясный экземп-

ляр и отдали Лоскутину. Феодор, главное, дал Лоскутину даже два «Солнца», так как не решил, какой из них лучше.

3 февраля, пятница

Сегодня Брусников опоздал к алгебре. Когда сел, смотрю, мне что-то передает. Я развернул, а это юмористический журнал «Сатирикон» — только старый, месяца три ему. Я его на коленях посмотрел — карикатуры очень смешные — и спрятал, — так и не понял, главное, зачем передал. На перемене Мишка спросил:

— Видел?

— Чего?

— Давай журнал, идем в умывальник.

Пришли в умывальник, развернул он «Сатирикон». Смотрю, там рассказ «Крепость на дому» напечатан, а внизу подпись: «Аркадий Аверченко». А Аверченко есть такой веселый писатель, в Петрограде живет. Принесли «Солнце», начали сверять — главное, слово в слово содрано, точно по шпаргалке. Вот тебе, главное, и Аргентинский! Позвали Гришина и Кленовского — решили в следующем номере «Весны» прохватить «Солнце» и в хвост и в гриву. А пока молчать.

5 февраля, воскресенье

Вчера нас четырех и Сергея Феодора вызвал директор. Когда мы вошли, он спросил:

— Это вы вот писали? — и на «Весну» и «Солнце» показал.

Ну, раз нас вызвал, значит, знает. Отвечаем, что мы.

— Гектограф где взяли?

— Сами сделали, — отвечаем.

— Разрешение есть?

— Нет.

Директор сказал:

— Гм! Что еще печатали?

— Ничего, господин директор.

Директор взял «Весну» и разорвал ее на четыре части. К концу трудно было, тужился. А феодоровские два «Солнца» так сразу разорвал... В нашем, видно, бумага лучше поставлена, чем у Феодора, и, кроме того, толще. Нет, что ни говори, а наша «Весна» все-таки лучше и «Аргентинских» нету!

Директор разорвал и сказал:

— Я ваших журналов не видел. Поняли? Делайте что хотите, но чтобы в классе, в Реальном ни одним вашим гектографским журналом не пахло. За мечу — пожалеете! Марш в классы!

Вот и все. Испугал, подумаешь! А мы будем печатать. Не в Реальном — так по квартирам ребята будут читать, а будут! Аргентинского мы все-таки урежем, осраим...

6. Неизвестное

Она пришла неожиданная. Шаги ее были робки и застенчивы, она растворялась в воздухе и проникала внутрь с каждым дыханием.

В переменах, у окна гимнастического зала, — загадочные знаки. Палец на себя и в стекло, палец в стекло и на себя, потом два пальца, словно шагами отмеривают подоконник.

За стеклом — двор. За двором стоит дом, в стек-

лах которого — синие и пепельные платица. Потрясающее равнодушие лиц. Но черные, светлые, рыжие косички то закидываются назад, то ложатся вперед на плечи, — неизвестно, как лучше, как больше «идет». И знаки: крошечной рукой махнут в воздухе и голову в сторону — будто: «Не надо... Ну, что вы! Что вы!» Но не уйти от окна. Черные, светлые, рыжие косички назад, вперед, как лучше — неизвестно.

Шестнадцатый год принес беженцев.

Против гимнастического зала стоит трехэтажный корпус. На третьем — квартира инспектора, на втором — директора, нижний, полуподвальный, — обитель Елисеева, Филимонова, архива училища, запасных парт, пособий. Елисея и Филимона потеснили влево, остальное — вправо, и получилась свободная комната. В комнате этой живут теперь шесть девочек-беженок и одна престарелая дама — смотрительница. Пансион. Синие и пепельные платица, — беженки учатся в двух гимназиях: синие — во второй женской, пепельные — в частной гимназии Гиацинтовой.

В окнах гимнастического зала — знаки. Палец на себя и в стекло: «Я вас люблю». Палец в стекло и на себя: «А вы?» Два пальца словно шагами отмеривают подоконник: «Мне хочется с вами погулять».

За стеклом одни знаки: махнут рукой и голову в сторону: «Не надо! Ну, что вы! Что вы!» Но не уйти от окна — ждут вот этого радостного, жуткого: «он», палец на себя и в стекло.

Черные, светлые, рыжие косички — назад, вперед, — кажется, лучше вперед на плечи, впрочем... нет, не известно.

Из дневника Зиновия Яшмарова

2 апреля

Сегодня слышал разговор. Мама говорит, что мисс Прайт надо отпустить, так как дети уже выросли, а для одного Вити держать не стоит. А папа говорит, что еще рано и что со мной еще надо мисс заниматься. Но я знаю, что он это не обо мне... Папа только недоволен, что мисс теперь раз в две недели имеет выходной день и уходит неизвестно куда в гости. Я подумал об этом и очень хорошо понял — я тоже не люблю, когда Надя говорит или играет не со мной, а с другими...

Завтра будет день рождения сестры Мины, и к нам придет Надя с братьями.

4 апреля

Вчера на рождении Мины со мной был такой случай. Решили вечером сделать живую картину «Пробуждение весны».

Мина пошла одевать Надю в свою комнату, а мы все стали готовиться к картине. Вдруг входит Мина и говорит, что не знает, из чего Наде сделать зеленый венок. Тут я сразу как-то сообразил и говорю Мине: «Пойди к маме и попроси зеленый шарф». А шарф этот висит в гардеробе, а ключи у мамы, а мама ключи вечно куда-то теряет. Думаю: будут долго искать...

А сам оторвал листья с фикуса и побежал в Минину комнату. Открываю дверь, а Надя сняла уже кофточку, и плечи у нее голые. Она крикнула: «Ах, нелзя!» А я говорю: «Мина прислала листья для

венка, я смотреть не буду и зажмурюсь!» Зажмурился, подхожу, а сам смотрю. Надя спиной ко мне стоит. Я беру листья и начинаю их втыкать Наде в волосы и говорю: «Мина так сказала сделать». Надя тут хватается шаль и хочет закрыться с головой. А я листья бросил и шаль не пускаю. Надя начала сердиться и визжать, а я схватил ее и поцеловал ей плечо. Она закрылась шалью и в меня подушкой швырнула. Я бегу к двери, а тут вдруг дура Минка с зеленым шарфом входит. Я испугался и говорю только: «Листья, листья я принес!» И убежал.

Как это быстро ключи нашлись. Удивительно!

* * *

Старичок Бодэ остался в третьем классе, в четвертом теперь — *madame Шевалье*. И картина на доске другая: не чудесный пейзаж, а уютная комната.

...Обед. Краснощекий мужчина и розовая женщина, обсыпанная мелкими кудряшками, обедают в середине комнаты. Умытые пухлые мальчик и девочка благоправно сидят между отцом и матерью. Накрахмаленная строгая горничная торжественно несет дымящуюся курицу с гарниром — ярким, как цветочная клумба...

Madame Шевалье, глядя на Лисенко, шлепает палкой по картине. Палка касается накрахмаленного передника горничной, и от этого картина крахмально хрупает.

— *Que voyons nous sur ce tableau*¹.

¹ Что мы видим на этой картине?

Лицо madame Шевалье помнило лучшие времена. Шевалье чем-то напоминает женщину на картине — тогда, давно, в лучшие времена. Розовые пятна румянца лежат на жухлых щеках. Губы в трубочку — будто конфета во рту, вечная, на всю жизнь. Пенсне в золотой оправе по-женски, неуверенно — вкось, на коротком пожелтевшем носике. Мелкими каштановыми кудряшками обсыпана голова. Стул без остатка поглощается madame Шевалье. Madame Шевалье полна и коротка.

...Но это — мимо. Все идеально, красиво, неповторимо. Никакой преподавательницы madame Шевалье нет...

Кленовский сидит, подперев кулаками щеки: прямолинейно, неотвязчиво смотрит на кафедру.

...Никакой преподавательницы madame Шевалье нет... Загадочная незнакомка. Или нет — известная красавица, которая влюблена в него, но ее не пускает жестокий муж. Кленовский ее похищает. Да, именно похищает, иначе ей не освободиться от мужа-зверя! Он похищает ее в карете с потушенными огнями. Кленовский везет ее в свою комнату. Конечно, это не та комната... Другая комната. И не комната, а вся квартира Кленовского. Никого, кроме него и ее, кругом нет... Квартира в конце города. Город не этот — другой. Лучше, если на Кавказе или в Гренландии. Впрочем, до Гренландии далеко и холодно: придется захватывать зимнюю шинель и башлык — это задержит карету. Лучше Кавказ... Хижина в горах. Две комнаты. Одна для него, другая для «нее». У Кленовского в комнате ковер, у «нее» колонны по стенам и между колоннами ослепительные люстры. Кругом подушки. Много по-

душек. В воздухе пахнет хорошо-хорошо: гелпотропом или «Садо-Яко»...

...И вот они одни, совсем одни. Он приближается к ней, обнимает ее. Она красивыми руками обхватывает его шею и жарко шепчет... шепчет...

— *Que voyons nous sur ce tableau?*

Вызванный Черных берет палку из рук madame Шевалье. Конец палки в ухо краснощекому:

— *C'est un père de famille*¹.

— *Continuons!*²

Каштановые кудряшки пружинно прыгают, сморщенная трубочка губ двигается: вечная конфета удобнее переворачивается во рту. Солнце ползет по стене. В солнечном отсвете угасает прощальный румянец madame Шевалье.

Нет, нет — все идеально, красиво, неповторимо...

* * *

Директор подошел к дверям актового зала. Маленькая, по-птичьи худощавая, крепкая голова повернулась слева направо. Большие глаза крупной птицы обвели буйное торжище большой перемены и не мигая — в угол, на добычу: сейчас клюнет. Директор поднял длинный высохший палец. Отчетливо согнул к себе два раза.

От угла отделился Плясов. Палец согнулся еще раз. Следом за Плясовым из угла пошел Телегин.

В левой руке директора розовый конверт с зеленой искрой. Два длинных высохших пальца осторожно, с омерзением залезают внутрь конверта.

¹ — Это отец семейства.

² — Дальше!

Оттуда показывается розовая бумага с оранжевыми целующимися голубками. Без помарок, каллиграфически — на радость далекому Лоскутину — шеренги букв:

«Дорогая Лена!

Мы оба Вас очень сердечно любим и не можем без Вас жить. Мы Вас часто видим из окна Реального, как вы проходите из гимназии и гуляете потом по двору, но Вы нас не замечаете.

В прошлый вторник мы встретили Вас, когда Вы шли из гимназии, на углу Посольской и Киевской улиц. И хотя нам надо было в другую сторону идти, но мы пошли обратно к Реальному, то есть следом за Вами.

Вы шли с подругой и все время с ней разговаривали и смеялись. Если бы не было подруги, мы бы к Вам подошли. Но мы Вас не упрекаем, что Вы шли с подругой, наоборот, очень довольны, что Вы с ней смеялись, — значит, Вам было весело, хотя Вы нас не заметили.

Около церкви к Вам нахально подошел какой-то гимназист из Дворянской гимназии, с красным околышем и в лайковых перчатках. Вы пошли дальше втроем и опять смеялись. Мы не против этого дворянчика, если он Вам нравится, только мы знаем наверное, что в Дворянской гимназии учатся одни, главное, «маменькины сынки». Мы Вас оба очень сердечно любим и считаем самой умной и интересной барышней, поэтому мы удивляемся, что Вы могли найти хорошего в этом нахальном дворянчике.

Мы о Вас думаем каждый день, и куда бы мы ни шли и чего бы мы ни делали, вспоминаем Ваши

очень красивые глаза и Ваш веселый смех, хотя Вы нас во вторник не заметили.

В эту субботу мы Вас будем ждать на углу Посьольской и Киевской улиц в 2 часа дня. Хотя у нас в субботу шесть уроков, но мы удерем из Реального после 5-го урока, чтобы увидеть Вас. Мы очень Вас просим не идти с подругой, а одной. Если к Вам подойдет дворянчик, то просим не разговаривать с ним и не смеяться ему, так как мы Вас оба любим и жить без Вас больше нельзя! Кроме того, просим Вас ничего не говорить об этом своему папе. Итак, мы Вас с нетерпением ждем в субботу в 2 часа дня.

Au revoir, дорогая Лена!

Ученик IV класса осн. отд. Т. Р. У. Alexandre Pliasoff
Ученик IV класса осн. отд. Т. Р. У. Antone Teleguine
P. S. Не говорите своему папе!»

Розовый конверт с зеленой искрой, розовая бумага с оранжевыми голубками распухают в облако. Облако наплывает... Рука директора подносит облако:

— Это вы, гм-ы-ы-ы... писали моей дочери?

Странно: подписано Александр Плясов, Антон Телегин, класс, отделение, училище... чего же?! Если отказаться... кто-то подшутил? Это не они — ни Плясов, ни Телегин. Кто-то недобрый подписал их фамилии... отказаться? Розовое облако проплывает близко, близко...

— Это вы писали?? Гм-ы-ы-ы...

В облаке замерцала неловкая девочка. Угловатогордая походка... две черных косы на плечах... с горбинкой нос, круглые птичьи глаза смеются... может быть, этому ненавистному дворянчику... Но это она, Лена!.. В горле что-то сжимается, щекочет.

Правда — ближе к угловатой, гордой, смеющейся.
Правда — ближе к Лене. Не отказаться, не мотнуть головой...

— Да, это я писал...

— И я тоже писал...

Длинный высохший палец угрожающим семафором перед глазами:

— Эфиопы! Чтобы этого больше... гмы-ы-ы... не было!

Облако — снова конверт и письмо. Зеленые искры мигают на розовом поле, оранжевые голубки мечутся среди разорванных шеренг букв. Все смешалось: искры, голубки, буквы...

Директор несет пушистую горку из клочков письма к урне.

...Она пришла неожиданная... Проникала внутрь с каждым дыханием.

7. Канун

Пятый класс встретил танцами.

На рубеже шестнадцатого и семнадцатого годов танцевал весь город. Танцевали в гимназиях, в институтах, в театрах, в Дворянском и Купеческом собраниях, у знакомых, дома, в одиночку...

На заборах, телеграфных столбах, в газете: «Даю уроки танцев. Бальные, классические, характерные. Курс двухнедельный. Масса лестных отзывов. Плата умеренная. Адрес...»

Всю ночь начищенные сапоги, штиблеты, туфельки метались по полу в неистовстве и усталости. Ввихренная с полу пыль ложилась на серо-голубые, предрассветные лица.

Всю ночь по клавишам роялей, пианино и запрокидывающихся гармоний бегали одеревеневшие пальцы. Тела, взмокшие в пиджаках и в галстуках, нежные тельца с прилипшими розовенькими платищами устало кружились...

Утрами — хлебные очереди, сахарные карточки и где-то далеко — война. Не то взяли, не то отдали какую-то крепость, кто-то наступает, кто-то отступает. «18 бомбометов, 25 пулеметов». Чьи были? Чьи теперь?.. Все примелькалось, надоело, опостылело, и вот только вечером отдых от этого. И пары кружились...

Но у тех же булочных были люди, которые о бомбометах и пулеметах знали наверное. Они перекраивали Европу, уничтожали крепости, вешали изменников, разоблачали тайны интендантских складов. Около булочных ходили настороженные, с одним приподнятым, по-собачьи, ухом, люди в котелках. И было что послушать... С Оружейного завода мужья приносили тревожно-радостные слова. Слова — в шепот, шепот — из уха в ухо: «Теперь скоро!»

Но непосвященные веселились.

...Пятый класс встретил танцами.

Штабс-капитан Саратовский гибок и изящен. Зелено-коричневый френч плотно на груди, еще плотнее, теснее в талии и вдруг мягкими складками — вниз. Между вшитыми во френч штабс-капитанскими погонами пушистые, легчайшие усы. И ноги. Отличные танцевальные ноги: нежно-мягкие хромовые сапоги с шелковым шелестом-шепотом. В танце мимо пола, чуть-чуть носком по паркету и мимо — по воздуху, в спиралях, во вздете...

Три раза в неделю вечерами зажигаются огни актового зала.

У рояля неизвестное существо снимает шерстяные платки, ватные кофты, шали. Существо худеет, съезживается, обозначаются линии человека. На соседнем стуле растет морозный ком одежды. И когда ком становится нисколько не меньше освободившегося от одежды существа — ясно окончательно: человек, женщина, таперша.

Саратовский кивает легчайшими усами:

— Людмила Ивановна, пожалуйста, падеспань!

Расставленные пары в предтанцевальном трепете. Сборище реалистов — пополам: серобрючные «дамы», серобрючные «кавалеры».

— Га-аспода! Берете даму правой рукой за талию. Вот так... Ну нет, вы вот, крайний, — слишком грубо. Надо нежно, чуть-чуть! Вообразите, что это не товарищ, а барышня... Этакое эфирное создание в воздушном платице! Воображайте: вы влюблены... играет оркестр военной музыки... ногами идете мягко, не грохая, не шмурыгая. Легкость! Воздух! Дистанция! Правильная дистанция между парами... Начинаем!! Людмила Ивановна!..

Звук рояля гулко в потолок, рассыпью по стенам, по полу, в ноги. Пары тронулись, пары пошли, закружились...

Из дневника Михаила Брусникова

8 января

Мы теперь знаем много танцев. Этранж, падеспань, венгерку и вальс. Вальс мне больше всего нравится: по полу идешь легко и плавно. Это не то что венгерка — скачут, стучат, словно лошади! На

вальс я и Телегина уговорил. У Саратовского он не занимался, а танцевать вальс стал учиться.

Мне танцевать прямо нужно, потому что в танце я могу побороть свою застенчивость и легче подойти к Асе.

Что-то давно не встречаю Варю. Как бы это сделать, как бы я был счастлив, если бы случилось так, что Варя пришла на вечеринку нашего пятого класса. Она не придет. Откуда она узнает о нашей вечеринке, да и кто, кроме меня, ее может пригласить?! А как я ее приглашу, если Варя меня не знает?

Придут наши беженки из пансиона. Их на все вечеринки приглашают, потому что они рядом — только двор перебежать или даже из гимнастического зала в окошко постучать — придут. И вот будет Ася... Я все еще не знаю, что у меня к ней. Когда Аси нет, мне скучно, а когда я ее вижу, я думаю о Варе... Нет, она не придет, об этом страшно даже думать! Страшно и приятно. Я ее знаю уже три года, и вот робость — ни заговорить, ни подойти, ни познакомиться не могу...

14 января

В булочных теперь выдают по одной булке, и около стоят городовые, которые за очередью следят. Сегодня прочел в «Сатириконе» шутку: «Не единым хлебом человек сыт бывает», — сказал городской, вынося из булочной две булки».

Папа говорит, что так с недостатком хлеба продолжаться не может и что государь или правительство должны принять меры. У папы есть проект, как сделать так, чтобы выдавали всем по две булки. Он хочет подать этот проект в городскую управу, но говорит, что там кретины сидят...

Чудак, зачем ему эти две булки!

В последнее время мама встает раньше, чтобы у разносчика перехватить газету и спрятать ее до вечера. Папа спрашивает, где газета, а мама говорит, что не приносили еще. Но когда мама просыпается, папá берет газету у разносчика сам и начинает с утра волноваться. Папа не может спокойно о войне читать: ругает министров, интендантов и вообще изменников.

У папы была карта, где он отмечал военные действия. Нам папа не позволял флажки передвигать. Мама как-то одна прочла газету о нашем наступлении и флажки на карте передвинула. Когда папа пришел со службы и глянул на карту, то испугался, от радости: оказывается, русские войска захватили больше чем половину... Испании. Потом папа смеялся, но раз навсегда запретил касаться карты. Теперь не то. Как-то понадобился папе кусок бумажки в галоши подложить. Искал, искал и оторвал от карты снизу. Теперь рвут карту кто хочет — остались Норвегия и Полярный круг.

16 января

Вчера была вечеринка нашего класса. С вечеринками у нас теперь запой. На неделе две вечеринки. Седьмому везет — он чаще всех устраивает. Приготовительному, первому, второму и третьему, конечно, не разрешают.

Итак, была вечеринка нашего пятого класса. Я опоздал. В дверь уже не пускали. Шел дивертисмент. Я поднялся на третий этаж. Там есть раздвижная дверь, из которой можно сверху смотреть в актовый зал, — вроде галерки. Оглядел все ряды и вдруг вижу во втором ряду Асю. Узнал по косе и

по плечам. Плечи такие прямые. У всех девочек, пока они не вырастут, плечи прямые.

Я обрадовался ужасно, что Ася здесь. В последний раз, когда я ее видел на вечеринке четвертого параллельного, я ей сказал, что мне скучно. А мне не было скучно, а я просто так «ломался». Она, конечно, обиделась.

Значит, так. Увидел я ее с третьего этажа и еще больше обрадовался, когда заметил, что рядом с ней свободный стул. Когда начали аплодировать, двери открыли, я спустился вниз и в темноте пошел к Асе. Рядом еще никто не сидел. Я сел и тихо спросил: «Вы сердитесь?» Она говорит: «Нет» — и посмотрела на меня вбок. Больше мы ничего не говорили, и я не знал — простила она меня или нет. Но было так хорошо-хорошо сидеть рядом...

Когда кончилось, были игры в коридоре, в «папу римского». Мы хотя сидели в игре рядом и за руки все время держались (когда бегали), но ничего не говорили больше. А тут такой случай произошел: начали бегать между стульев, потом команда «римского папы»:

— Садись!

Я бросился к стулу, сажусь и... лечу на пол. Кругом хохот. Ася стоит надо мной и смеется. Это она вырвала из-под меня стул. Хотя было больно, я здорово плепнулся, но во мне смешались и боль и радость. Я посмотрел на смеющуюся Асю и понял, что она меня простила, и, когда мы опять взялись за руки, чтобы бегать, я почувствовал, что она дороже мне всех здесь.

Вдруг ко мне подходит Венька Плясов и говорит шепотом:

— Идем за мной!

Венька привел меня в пустой класс в нижнем этаже. Я уже догадался, зачем он позвал, хотел вернуться, но перед ребятами было неудобно. А ребята уже в классе. В темноте я узнал Черных, Пушакова, Губовича, Яшмарова, Умялова и шестиклассника Рутковского. Пушаков протянул мне кружку и сказал: — Пей!

Я посмотрел в кружку — там было налито меньше половины. Я понюхал — пахло очень противно, керосиновой лампой. Пить или нет?! Умялов из темноты шепнул мне осяпшим голосом:

— Чего тянешь! Пей да в зал пойдем!

Была не была! Что-то будет? Говорят, после очень весело и легко, вроде как ангел, а смелости хоть отбавляй. К черту застенчивость!!

Я выпил залпом и... хотел закричать — рот, горло все обожгло и горело. Я закашлялся, и вдруг стало очень жарко внутри, точно там огонь зажгли. Я побежал в умывальник, начал пить воду и рот полоскать...

Говорят — раньше было, до войны, — пили иногда семиклассники, теперь же, когда водка запрещена, начали доставать из-под полы и пить чуть не с четвертого класса. На каждой вечеринке встретишь пьяных. Причем, как говорят, «выпили на копейку, а ломаются на рубль» — притворяются, глаза таращат, патаются.

Я напился воды, пополоскал рот и от умывальника подошел к окну. Была звездная ночь. Голые деревья на дворе качались от ветра и заслоняли звезды. Проскрипели по снегу на улице сани. И от этого скрипа сделалось холодно. Потом стало приятно, что здесь, в умывальнике, тепло, что мне тепло, что во всех коридорах и этажах тепло, что в зале

музыка, что там Ася... Я вспомнил, как шлепнулся... она меня любит, и она мне дороже всех. Я вдруг почувствовал себя очень смелым и очень красивым... В зал, в зал, в зал!

Я побежал по коридору. Бежать было легко и как-то смешно. Окна со звездами то надвигались на меня, то уходили. Паркет мне казался не ровным, а с буграми, и я поднимался с бугра на бугор. Но было легко и радостно. «Я опьянел, — подумал я, — надо сдержать себя, скрыть». Я медленно поднялся по лестнице и подошел к залу. Там танцевали паде-спань. Ко мне подошел Лисенко.

— Ты чего? — спрашивает.

— Ничего, — отвечаю.

— Чего такой красный?

— Быстро бежал. — А сам нарочно дышу тяжело: — Уф-уф...

— Брось заливать, пил, что ли? Где?

И мне показалось, что Лисенко завидует. Тут на меня что-то нашло, я почувствовал превосходство над Лисенко, что я замечательно смелый парень.

— Да, — говорю я, — Лисенко... Собаченко, Лошаденко, Бульдоженко. Раздавили в компании пару-другую бутылочек! — Рассмеялся перед ухом Лисенко звонко и нахально и, нарочно раскачиваясь, пошел искать Асю. Танцевать, танцевать! Ася сидела в другом конце зала...

17 января

Вчера не кончил — высыпался после вечеринки. Весь день вчера и сегодня даже в классе противно мутило, и весь я какой-то будто жеваный хожу. Вечеринка все еще стоит в памяти... Как гадко! Простит ли она меня?

Продолжение

...Ася, я заметил, сидела в другом конце зала. Мне надо бы было идти по стене к ней, а я пошел прямо, наперерез сквозь танцующих. Было тесно, на меня зашипели: «Куда, куда, нельзя ходить», а я иду и иду. Шел я довольно осторожно, чтобы не задеть пар. Но оттого, что пары кружились, меня стало вдруг мутить и качать. Как бы, избави бог, не упасть, я остановился и закрыл глаза, чтобы не глядеть на кружение... Голоса вокруг сливаются вместе: оа... оа... оа... Ветер от проносящихся платьев овеивает меня. Мне прохладнее, лучше... Я открыл глаза, выбрал просвет между парами и быстро перебежал. Нашел Асю и подхожу к ней:

— Идемте танцевать!

Беру ее за руку. Она удивлена моей смелостью, но встает. Я кладу правую руку на талию Аси, она пристально смотрит на меня доверчивыми глазами. Я прислушиваюсь к музыке, слегка нажимаю рукой на талию и команду:

— Начинаем!

А сам в такт музыке напеваю громко такую меццанскую песенку:

...Падеспань — это танец хороший,
Он танцуется очень легко;
Стоит ножку поднять грациозно,
А потом все пойдет хорошо... И т. д.

В конце фигуры, когда мне надо было завертеть Асю, а потом снова поймать ее за талию, я вдруг решил: смелость так смелость! Очень просто, я схитрю, будто нечаянно... Я поднял руку вместе с рукой Аси. Завертел ее. Серое платье Аси закружилось.

Я, как полагается в танце, поймал Асю за талию. Но только выше, будто нечаянно, и сейчас же сдвинул руку вниз, на талию. Но и за эту секунду я почувствовал...

Нет, какое я тогда был животное! Простит ли меня Ася?

Ася вдруг выпустила мою руку и сказала:

— Я не хочу с вами танцевать, — и пошла к стульям.

Я был обижен, рассержен и злился на себя. Но смелость так смелость! Я еще и не это могу, у меня такое счастливое настроение! Я сказал Асе дерзко:

— Пожалуйста, не хотите, не надо! Вы здесь не одна!..

Асю пригласил Лисенко. Я подошел (прямо удивляюсь!) к каким-то незнакомым барышням. Но одна не умела танцевать падеспань, а другая посмотрела на меня и сказала, что она устала. Я сел в стороне и смотрел на Асю с Лисенко. И вдруг меня разобрала такая злость на них, что не знаю, что хотел с ними сделать. Со мной не хочет, а с ним хочет?! Пускай уж ни с кем. Какая лживая девчонка! Еще час назад, во время «римского папы», смеялась со мной, стул вырывала, а теперь вот не хочет!..

Я сидел под форточкой, и то ли от воздуха, то ли оттого, что время прошло, но голова посвежела, и я перестал об этом думать. Перестал злиться на Асю. Посидел, посидел, и все пошло в обратную сторону — стал злиться на себя. Вспомнил падеспань и чуть не заплакал... Нет, Ася мне теперь не простит...

8. Красный генерал

Шепот пополз из класса в класс.

Звонок давно угас в нижнем этаже. Второй урок где-то притаился в учительской. Но, конечно, сейчас вот преподаватели разберут журналы и по коридорам, угрожающе-знакомо шумурыгая, — в классы, в классы...

Однако двери учительской закрыты. Около дверей, словно на цепи, полукругами ходит бакенбардный Елисей.

Шепот пополз увереннее и настойчивее.

Окна класса — на Коммерческую улицу. По Коммерческой взбудораженно, по мостовой, — люди. С улицы машут в окна: «Сюда, сюда!» Прислонить лицо к оконному косяку и взглянуть вбок: виден узкий ломтик Томплинской. И на этой улице тоже — темные, плотные ряды голов. И уже больно скошенным глазам, а ряды идут, идут... Над ними плывет красное трепещущее и опять темное, темное, а вот снова красное...

От окон — к двери. Там тоже новость: около учительской, где полукругами, как на цепи, ходит Елисей, стоят два неизвестных человека. У одного легкокрылое пенсне на остром носике. Человек в пенсне убеждает Елисея, трогает его за рукав. Другой — в оранжевой овчинной куртке — бесстрастно, не слушая, наступает на дверь учительской. Но Елисей не дремлет — загораживает дверную ручку: «Нельзя! Не велели!»

Оранжевый машет рукой:

— Ну и черт с ними! Пойду за ребятами, прямо в классы!

Оранжевый поднимается по лестнице на третий этаж. Елисей с цепп, следом:

— Вернитесь, вернитесь!.. Господин директор не приказывали.

Оранжевый поднимается по лестнице. Елисей обратно — к двери в учительскую.

— А вы куда? Я же сказал!

Из раскрытой двери оборачивается острый носик. Легкокрылое пенсне трепещет, извиняется...

— Я на минуточку... Мне поручили, я не могу, понимаете... Я на минуточку...

Дверь закрывается. Встревоженный Елисей мечется: от лестницы, по которой ушел оранжевый, к двери, куда улизнул человек в пенсне.

* * *

Дверь учительской открыта.

Освобожденный папиросный дым голубыми полотенцами поднимается к часам над дверью. В дверях сдержанный гул, черные, плавающие по голубому силуэты преподавателей. Из голубого, из гула: кругло, катушкой — толстенький Кирилл Кириллович; следом — коротконогие шажки Лоскутина; следом — Семьянин, на щеках пятна румянца, глаза широко раскрыты, глаза смеются (да Семьянин ли это? Он ли?).

Круглый Кирилл Кириллович — вниз, в подвластное, покорное царство первого этажа. Семьянин радостно, через ступеньки, вверх — к старшим (да он ли это?). Лоскутин шажком-бежком по второму этажу. Зигзаг от класса к классу:

— Э-э... гаспада! Все в зал! Э-э... Гаспада, все в зал!.. Э-э...

Этажи бегут в зал. Наспех, торопливо — в шеренги. Перепутались классные наставники. Только Кирилл Кириллович грозно, по-фельдфебельски, смотрит на свой пригласительный, смотрит сразу на всех — сразу на сорок голов.

Человек в оранжевой куртке и человек в пенсне — у входа в зал. Оранжевый переступает с ноги на ногу: поскорее бы...

Знакомый шелест директорских шагов. Орлиный нос, прямая, зачеркивающая черта бровей — в упор на императорский стенной портрет.

Со стены: без лишних складок темно-зеленые шаровары, блестящий мундир, голубая широкая лента. Над мундиром розовеет неуверенное лицо с робкими бровями. Мягкая каштановая борodka.

Орлиный нос надвигается на императора: вот-вот клюнет. Не клюнул. Негодующий полуоборот: не стоит. Бесстрастны, сухи глаза крупной птицы.

— Его императорское величество, — резким, деревянным голосом говорит директор, — государь император нашел за благо для России отречься от престола...

Глаза — на шеренги учеников.

— Объявляю сегодняшний день свободным от занятий, но...

Оранжевый у двери взмахивает:

— Все на улицу! На демонстрацию!

Шеренги — в кашу. К двери и обратно — к директорскому «но». Свободный день — к двери, свободный день — на улицу! Никаких «но»! Что такое «демонстрация»? Кто знает? Домой — это понятно.

Шеренги подмывают оранжевого и по лестнице вниз, к выходу. Тот, что в пенсне, ловит руку Семьянина: «Ну, наконец-то, наконец-то дождались!» Семьянин ловит руку человека в пенсне: «Ну, наконец-то... Наконец-то дождались!»

Все несется вниз. В вестибюле с бою: шинели, галоши, фуражки.

Актный зал пуст. Со стены конфузливо смотрит розовое неуверенное лицо с робкими бровями:

«...Это я, когда был императором...»

* * *

Гудит Коммерческое. Вслед за реалистами высказывают «коммерсанты». Сине-зеленые шинели перемешиваются с черными.

— Эй, ребята, к Классической!

— Классическую гимназию освобожда-а-ать!!

— Кто с нами, пошли-и!..

Среди сине-зеленых и черных ныряет коротконогий неистребимый надзиратель Лоскутин. Приплюснутая фуражка с кантом.

— Э-э... Гаспада!.. Гаспада!.. Тише!.. Э-э... порядок!..

По Томилинской напролом — к Классической гимназии. Улица бурлит народом, на трепещущем красном полотнище что-то написано. После, после! Скорее в Классическую...

Снег во дворе гимназии свеж и нетронут. Ноги бегут по снеговой целине к дому с толстыми стенами, с окнами, как четырехгранные воронки. Тяжелая крепостная дверь с трудом, но настезь. Сине-зеленые и черные шинели гулко заливают вестибюль.

Человек в оранжевой куртке поднимается по каменной лестнице. Неведомый классный надзиратель, выкатывая глаза, отчаянно — за оранжевый рукав:

— Вы куда? Вы кто? Будьте добры вернуться! Я вас прошу...

Оранжевый поднимается по каменной лестнице.

Гудит день. Киевская улица полна до краев. Черные толпы перекатываются, растекаются, сшибаются. Ни мостовой, ни тротуаров, — людп. Толпа распирает улицу. Люди с красными бантами карабкаются на балконы, на этажи, на крыши. И кажется: идут по головам, в два, в три, в четыре ряда.

Два близнеца — Дворянская гимназия и Благородное собрание настороженно всматриваются, не узнавая приличную улицу. Но из дверей левого близнеца выскакивают черные шинели с золотыми пуговицами. У «дворян» отличные красные розетки в петлицах.

На улице низкие, раздуваемые ветрами красные облака — знамена. На облаках мигает серебряное, золотое:

...ойна...до...побе...конца...

...Зем...и ...оля...

...Да...драв...бодная...Рос...

...В борь...ретьшь...аво...свое...

У собора, принесенные из-за реки, из заводского многотрубья, опально озираясь, нависли над головами багровые знамена:

Пролетарии...стран...диняйтесь...

Оркестры рвут февральский воздух. От начищенных труб солнечные зайчики-попрыгунчики — на лица, на знамена, на дома...

Гудит день. Киевская полна до краев. Ни мосто-

вой, нп тротуара — толпа распирает улицу. Карабаются на заборы, на балконы, на крыши. И кажется: идут по головам в два, в три, в четыре ряда...

Но вот и он!..

* * *

Его знают: Благородное собрание, фойе театра, дневные и вечерние тротуары Киевской. Его знают женские гимназии...

Генерал Грудянский.

Тоще, бойкое тельце. Сухонькие, хрупкие ножки в узких отличных сапожках. Ток-ток-ток — каблучками. Дзинь-дзинь-дзинь — шпорами.

На улице генеральская шинель всегда враспашку. От красной подкладки нестерпимое зарево на сапожки, на мундир, на лицо. Утопает в зареве настигнутая генералом смущенная гимназистка. Ссохшееся лицо со скважничками-глазами — вбок, по-петушину:

— Сингапурчик!

Ток-ток — каблучками. Дзинь-дзинь — шпорами.

— Цыпленочек!

(Ток-дзинь!..)

— Малютка!

И проникновенно, шепотом:

— Люблю!..

...Дзинь!.. Дзинь!..

Офицеры козыряют, солдаты напыженно — во фронт, это всё ненужное, — только сухонькой ручкой ласково по воздуху:

— Пожалуйста, пожалуйста...

Но бывает: на просторах Киевской пунцовая гимназистка не глядя и торопливо ныряет в первый попавшийся подъезд. Дверь хлоп, и тихо. Генерал

один. Генерал оглядывается. Тощее, бойкое тельце переступает с ножки на ножку: дзинь, дзинь!.. «Странно!» Красное зарево дрожит на стеклах подъезда. Левая скважинка-глаз задумчиво по-петушину на небо: «Гм... странно!..» И дальше по тротуару Киевской хрупкие ножки: «Ток-дзинь!.. Ток-дзинь...» Офицеры козыряют, солдаты напыженно во фронт.

И вдруг из скважинок огненные брызги:

— Подожди, малютка! Как честь отдал, цыпленочек? Что-о! Молчать! Живот куда прешь, как беременная попадь! Под ружьем давно не стоял? Что-о? Молчать!!

Красное зарево мечется по солдату. Солдат мечется в красном зареве.

* * *

Но вот и он!..

Генерал Грудянский сегодня под ручку, рядом с пунцовым февральским днем.

...Как хорошо! Как великолепен ты, день-малютка! На влюбленном победные знаки. Красная птица банта трепещет на коричневом френче генерала. Рука придерживает распахнутую шинель (чтобы не помялась птица-бант, чтобы видели — вот она). На рукаве шинели огненным кольцом повязка. Генеральские погоны и кокарда на фуражке покоятся на кусочках красного шелка.

Из толпы, через головы — неизвестно кому и куда:

— Вась, пойдн скажи, чтоб еще шинелю красной подкладкой наизнанку вывернул! Сам он не догадается!..

...Сегодня он рядом с пунцовым февральским днем. Как хорошо! Как великолепен ты, день-малютка!

...Ток-дзинь!..

9. Забастовка

Из дневника Антона Телегина

6 марта

Наши ребята в гору пошли — в милиции вместо городских! На рукаве, главное, красная повязка с буквами «Г. М.» (городская милиция), и наган самый настоящий, с пулями, на поясе. И, конечно, свисток, чтобы, в случае чего, пронзительно свистеть. Я ходил записываться в милиционеры — не взяли, говорят, милиционерами теперь будут гарнизонные солдаты, студенты, то есть взрослые, а мелочь, гимназистов и прочих, крути обратно — за ученье.

Ребята вернулись. Лисенко, который, главное, хвалился, что он останется, тоже поперли обратно. Лисенко сегодня рассказывал. Стоит он у водокачной будки. Приходит баба за водой, хватъ-похватъ — трех копеек на воду нет. Или нет, или потеряла. Баба расстроилась. Стучит в будку, а ей, главное, задаром воды не отпускают. Баба плачет. Лисенко тогда подходит и говорит, не говорит, а приказывает будочнице:

— Отпустите ей пять ведер воды за счет революции.

Отпустили. Баба очень обрадовалась, но взяла только два ведра — остальные не унести.

14 марта

Выбрали ученический комитет. От нашего класса Кленовский и Тутеев. Кленовский — это хорошо, а Тутеев около учительской вертится, прислушивается, что там скажут. Своего мнения, главное, нет! По закону божьему со второго полугодия — Кудрявый (который в первом и втором классах был). Кленовский сегодня не знал урока — плавал. Кудрявый батяня подсмеивается:

— Делегат от класса, а закона божьего не знаешь...

19 марта

Ура! В Классической гимназии забастовка! Никто не ожидал — их же мы ходили освобождать в революцию! Ненадежная гимназия была. И вот забастовка! Не учатся.

20 марта

Теперь выяснилось с Классической, в чем дело. В четвертом классе учитель математики Максардов поймал за письменной работой ученика Тихонова в том, что он сдирал со шпаргалки. Случай, главное, пустяковый, но Максардов вдруг рассвирепел, вырвал шпаргалку и тетрадь, назвал Тихонова «прохвостом», все слышали, и поставил сейчас же кол. Тихонов вдруг побледнел и сказал:

— Я вас прошу меня прохвостом не называть — я буду в ученический комитет жаловаться. Теперь не царский строй!

Максардов на него, главное, с кулаками:

— Что-о! Грозить? Телячьим комитетом грозить?! П-шел вон из класса!

Тихонов пошел к двери, а на ходу сказал:

— Вы не учитель, а жандарм.

Не успел. Вечером вчера у нас было собрание по поводу Классической. Готовился, что сказать.

Итак, Тихонов сказал: «жандарм». Урок Максардов довел до конца. После урока началась война. Тихонов — в ученический комитет, Максардов — к директору. Тихонова вызвали к директору. Вместо него пошел ученический комитет. Директор сказал: если Тихонов не извинится за «жандарма» и угрозы, то его выгонят из гимназии. Учком говорит: если Максардов не извинится перед Тихоновым за «прохвоста», а перед учком за «телячий комитет», то учком будет действовать.

Директор исключил из гимназии Тихонова. Наутро учком собрал гимназию и объявил забастовку — прекратить учение. Директор понесся колбасой в губернаторский дом, — главное, думал там губернатора застать! Губернатора, понятно, уж месяц как нет. Застал там комиссара города, назначенного от Временного правительства. Учкомовцы тоже туда поехали. Как ребята рассказывали, они для этого наняли извозчика. Но извозчик отказался весь учком везти. Сел тогда председатель их, Павлищев, и еще двое и поскакали вслед за директором к правительственному комиссару.

Приехали. Встретили директора там. А комиссар, главное, кисель-мочалу жует: не разберешь — и директору поддакивает, и учкому улыбается. Но забастовку все-таки просил прекратить. Раз просит, значит, курица — силы нету! Но учкомовцы, главное, замялись, как быть? Думают, ведь власть, как же против закона? Кто-то надоумил поехать в Совет рабочих депутатов — тоже власть! Павлищев гово-

рит — едем туда, а два других сдрейфили, не хотят, лепечут, что это самозванцы — не поедем. Павлищев плюнул на них и поскакал на том же извозчике в Совет депутатов. Два остальных учкомовца растерялись и пешком вслед понеслись.

В Совете тоже неразбериха. Одни говорят — прекратить забастовку, а другие наоборот приказывают — ни за что, и чтобы до победного конца, то есть пока Тихонова обратно не примут и не извинятся. Кондратьев, который...

23 марта

Что в Реальном делается!.. Ядовито как все получается. Директор Классической не пьет, не спит — в Москву хочет ехать!..

Дальше, говорят, так было: Кондратьев, тот, который к нам в революцию приходил в рыжем полубубке, там в депутатах оказался, и он так сказал Павлищеву:

— Ты их не слушай. Рабочие депутаты тоже разные бывают. Мы тут не одной партии. Идиоты вы будете, если забастовку отмените. Сегодня они вашего товарища оскорбили и выгнали, завтра ваш ученический комитет закроют, а послезавтра, может быть, вас розгами во славу революции пороть будут! Не уступать! Покажите силу, чтобы считались с учкомом. Закручивайте крепче! Царские чиновники силы бояться!

23 марта, вечером

На следующий день вывесили по Классической плакаты:

ЗАБАСТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Позавчера к нам в Реальное пришел Павлицев и просил ученический комитет поддержать забастовку в Классической. Наш учком заколебался. Голоса, главное, разделились — одиннадцать поддерживать, а девять не надо. Мелочь первозтажная почти вся против, за маменькиной юбкой прячутся. Решили обсудить днем по классам, а вечером общее собрание, и там решится — «за» или «против».

О положении дел докладывал у нас Кленовский и Тутеев. Тутеев, зубрила-мученик, понятно, был против: что скажут учителя, и вообще, забастовка — это беспорядок. На него набросился Гришин, Лисенко, Феодор, Брусников. Я тоже кое-что сказал. Класс большинством решил Классическую поддерживать и самим забастовку устроить. Тут кто-то, сдуру, предлагает меня вместо Тутеева делегатом от класса, так как я на прошлых классных выборах был избран кандидатом. Тутеева, конечно, сменить надо, но при чем, главное, я? Лисенко тоже кандидат, и он говорить умеет. Хотя в делегаты мне очень хотелось, но я наотрез отказался, чтобы чего, главное, не напортить классу. Выбрали Лисенко.

Вечером было назначено общее собрание Реального. Пришел из Классической Павлицев. Подходим к актовому залу, а он, главное, заперт. Около зала стоит Елисей и Лоскутин. В чем дело, почему? Лоскутин отвечает:

— Господин директор просит всех вас разойтись по домам и бесчинств никаких не устраивать. Зал приказали запереть.

Ах так, думаем, уже зажимают! Собрались в коридоре. Было шумно. Кирилл Кириллович появился

в дверях и исчез. Лоскутин за ним нос показал и тоже смылся. Ничего не поделаешь — не городских же звать?! Перевелись городовые-то!

Было шумно. Павлищев здорово говорил, главное, уверенно, отчетливо. Вот оратор! Были «против» и «за». Большинство победило — в знак солидарности провести в Реальном забастовку.

Кричали «ура», пели «Марсельезу». На душе было такое хорошее, бодрое чувство, словно мы победили весь мир. По телу бегали мурашки — не то холодно, не то жарко, но ядовито! Главное, потому хорошо, что не один, а много нас... Надо еще больше — Коммерческое училище, городские училища, — во сила бы! Тут я пожалел, почему отказался от классного делегата.

Шли обратно гуртом по улице, и нам казалось, что мы непобедимые герои и что, главное, нас весь город уже знает. Среди нас были и из шестого и из четвертого классов — многих не знали даже по фамилии, но все мы чувствовали себя друзьями, товарищами, все за одно, за забастовку. Это-то и волновало...

Нет, ничего не выходит. Слова, главное, не те!.. Не опишешь этого... Одним словом, было как никогда...

24 марта

Забастовка по Реальному была объявлена на 22 марта. Большинство учкомовцев пришло за полчаса до начала занятий. Я пришел и сказал Лисенко: «Хотя ты выбран вместо Тутеева, но я ведь тоже кандидат — я тебе буду помогать». Лисенко согласился, Кленовский тоже. Помощников нашлось, вообще, до черта! Гришин с Брусниковым намале-

вали плакат о забастовке и вывесили на входной двери. Учкомовцев и всех пришедших помогать разделили на две части. Одни остались у входной двери, чтобы, если кто придет, объявить о забастовке еще раз и предложить вернуться домой. Остальные, по одному, по два, — у дверей классов. Если парень окажется безнадёжным и пойдет все-таки в класс, то еще раз напомнить о забастовке.

Я попал в классные. Стал около своего пятого. Ребята сознательные — не идут. Прозвонили на первый урок (молитва теперь по классам, перед первым уроком). Перед третьими, четвертыми классами ребята появились. Вертятся, а не входят. Своих классных пикетов стесняются. Кое-кто вошел все-таки.

Вот и ко мне идут — прорвались, значит, у входа. Ну конечно, это они — зубрилы-мученики: Жучков и Тутеев! Подходят, меня будто не видят, словно я, главное, прозрачный. Я им говорю:

— В Реальном объявлена забастовка!

Жучков не отвечает, а Тутеев говорит:

— Знаем, — и проходит мимо меня в класс.

Я им в спину:

— Каждый срывающий забастовку — предатель своих товарищей!

Они молчат и садятся за свои парты. Вот еще один! Бежит Зинка.

— Яшмаров, ты знаешь, что забастовка?

— Я на собрании за нее не голосовал.

— Но ты должен большинству подчиниться!

— Я ничего не должен! Я должен делать то, что хочу.

— Даже если захочешь быть предателем?!

— Не пугай на ночь глядя, не засну еще! — И

идет к своей парте, кроличьими глазенками поблескивает.

Ладно. Пускай. Вдруг — совсем, главное, не ожидал — идет Венька Плясов в обнимку с Умяловым. Идут ко мне. Умялов остался на второй год в четвертом классе. Я говорю:

— Умялов, если ты все-таки хочешь заниматься, то иди в свой класс.

Умялов бурчит:

— Вот жандармов наставили! Мне тоже предлагали, да я отказался, грязная работа!

А Плясов машет Умялову рукой:

— Брось трепаться! Мы, Антон, не заниматься пришли. Вчера на вечеринке в женской гимназии были — поздно вернулись, поспать пришли.

— Идите домой спать.

— Ну, ты тоже брось трепаться! Нянька нашла! Дома мне не дадут спать. Отец за меня деньги в Реальное платит — могу я в классе сидеть?!

— Сиди, если хочешь, но помни, главное: каждый лишний человек в классе показывает, что забастовку не все исполняют.

— Да я и сидеть не буду. Лежать буду — не видно.

Плясов прошел в класс, а Умялова я не пустил. Он пошел в четвертый спать. Только Венька разлегся на задней парте, вдруг, главное, поднялся Тутеев, собрал книжки и молча ушел из класса. Молодец, коли так!

Появился в коридоре Лоскутин и Семьянин. Я стою, не двигаюсь. Семьянин ко мне и говорит, точно нас много стоит:

— В классы, в классы — сейчас занятия!

— Я выставлен от забастовочного комитета, мое место здесь.

Семьянин носом в класс, а в классе два предателя: Жучков и Яшмаров, глазами навстречу мигают. Плясова не видно, только из-за дальней парты папиросный дым поднимается. Но Семьянин этого не замечает, спрашивает меня:

— Тутеев где?

— Тутеев был и ушел — оказался сознательным.

Семьянин на меня внимательно смотрит, точно насквозь:

— А вы, Телегин, сознательный?

— Кажется, да, Игнатий Тихонович.

— Если сознательный, то как же вы в забастовке участвуете?

А я отвечаю ему:

— Вы меня, Игнатий Тихонович, не агитируйте! Я вас всегда, главное, уважал. После революции вы веселый были. Я думал, вы за забастовку будете, то есть за нас, а вы против. Вы лучше с теми шкурниками поговорите — они вас поймут, — и показываю на класс.

Тут директор в конце коридора появился. Стоит как монумент и откашливается. Он всегда, главное, так: гмы... гмы... и молчит. (Когда я слышу это «гмы», всегда вспоминается прошлый год, наше письмо с Плясовым к его дочери... Вот идиоты! Как скачет время!.. Вчера хорошо — сегодня уже плохо! И обратно... Встречаю иногда Лену или вижу из Реального, как идет по двору. Главное, все та же, красивая, только выросла и на отца больше походит. Но что-то лопнуло! Смотришь на нее — и ничего... Главное, идиоты, письмо когда-то писали! Страдали!!)

Семьянин ничего не сказал, пошел к четвертому. Я зашел в класс, дернул Плясова за ногу:

— Брось курить! Думаешь, забастовка, так хамить можно!

Венька зевает:

— Бросил уж, откатывай, Антошка! Разбуди, когда забастовка кончится.

Скоро наши разведчики донесли: занятий на третьем и втором этажах нет. Нижняя мелюзга, конечно, сдуру пришла и занимается. Мы прождали еще урок — и все в порядке. Пошли домой.

Так прошел первый день забастовки.

25 марта

Вчера уже третий день не учились.

С Коммерческим училищем ничего не вышло. Наши и гимназисты ходили к ним. Коммерсанты отказались. Ну, черт с ними! Этого надо было ожидать. Но мы — сила! В учительской все шепчутся... Наш директор ездил к классическому, классический к нашему, и оба к правительственному комиссару. Что там было, неизвестно, только классический директор опять все грозит, что в Москву поедет. Он, по-моему, городских ищет. У нас нет, — может, в Москве еще остались. Чудак!

25 марта, после обеда

Только что пришел из Реалки. Все в порядке. Новость: сегодня вечером в Классической будет собрание родителей наших и гимназии — как быть с забастовкой. Приглашены учкомовцы, только, главное, чудно приглашены — «для информации», будто мы не люди! «Информируют» или мы «информируем» — и сматывайся. С учкомовцами сговорился — я тоже пойду. Чем больше, тем лучше.

Отец мой тоже пойдет, он сегодня в утренней смене работал. Хотя про забастовку он знает, но я его настропалил — пусть, главное, между родителями потрется, правду расскажет — у нас союзников больше будет. От двух учкомов будет говорить Павлицев. Вот загнет, если дадут ему говорить!

Отец лег спать, сказал, чтобы к семи часам разбудили. Мать чистую рубашку готовит. Не проспал бы!

26 марта, утром

«Было дело под Полтавой!» Родителей пришло много. Кто в пиджаках с галстуком, кто в мундирах военных и штатских, а в пиджаках с рубашками маловато. Но папашка мой, главное, смотрю, ходит довольно свободно и со многими заговаривает. Знаком он не знаком, а агитировать нужно.

Тут стали пускать публику в зал. Классические и наши учкомовцы тоже подались к двери. А у двери вдруг какой-то сивый мерин — глаза на выкате — из классных надзирателей, дорогу, главное, загораживает:

— Вас, господа, просят подождать. Когда ваше присутствие в зале будет необходимо, вас пригласят...

А родители идут и идут мимо — некоторые ехидно улыбаются нашему разговору. Мы напираем, а тот — глаза навывкате — загораживает:

— Господа, господа, не приказано!

Павлицев как гаркнет:

— Пойдите, Вениамин Иванович, к директору и передайте, что учкомовцы требуют, слышите, требуют, чтобы их впустили в зал!

Родители все прошли. Этот самый Вениамин Иванович двери закрыл на задвижку и, слышим,

куда-то побежал. Мы стоим тихо, молчим — ждем. Кленовский задвижку трясет и орет: «Безобразие!» Наш шестиклассник Рутковский его останавливает. У Павлищева на лице то белые, то красные пятна — волнуется. Слышим, через дверь дорогие родители обсуждают: впустить «детей» или нет?.. Минут двадцать прошло. Вдруг задвижка щелкнула, и Вениамин Иванович в щелку:

— Просят пожаловать. Разрешили впустить только двух председателей ученических комитетов: ученика Павлищева и (тот, глаза на выкате, в буфетку посмотрел)... и ученика Реального училища... э...

— Круглова, — я подсказываю.

— Круглова, — говорит Вениамин Иванович.

Наш Круглов — семиклассник с усами и в очках, вроде настоящего взрослого дяди.

Мы, все остальные, загалдели: «А мы куда?!» Председатели жмутся — не идут одни. Вдруг мы хором, точно по команде, и одно и то же закричали:

— Пошли все!!

Вениамин Иванович геройски ход загораживает — руки вроде наседки растопырил, но это зря — ввалились все в зал. Ввалились толпой, а потом слегка построились и промаршировали к первым рядам, где сбоку и сели. Сели, и страшно оглянуться. На возвышении за столом сидят классический директор, наш директор, отец Яшмарова и мужчина в золотых очках, лысый. Отец Яшмарова у нас председатель родительского комитета, а этот лысый, как оказалось, председатель родительского комитета гимназии. У лысого, главное, был звонок, и он председательствовал.

Начал говорить «герой» забастовки — преподава-

тель Максардов. Он рассказывал, как все это было, только очень вежливо и мягко, и, кстати, главное, пропустил и «прохвоста», и «телячий» комитет, а просто сказал: «Я, может быть, погорячился и был излишне резок с учеником Тихоновым». Потом надо было говорить самому Тихонову, но его в зале, конечно, не было. Говорила его мать в синей кофте. Сама толстая, а голова маленькая, худая, точно чужая голова. Мать сказала...

(Бегу в Реалку, что-то сегодня будет?)

26 марта, вечером

Кто-то пустил слух. Наши учкомовцы пока молчат — надо проверить. Круглов и Кленовский поехали сегодня в Классическую, будем ждать завтра...

Пишу дальше о родительском собрании.

Мать Тихонова сказала:

— Я очень извиняюсь, что вся эта грустная каша (бывает, значит, «веселая каша»?!) заварилась из-за моего сына. Если бы его отец, а мой муж был здесь, ничего бы этого не было, он бы ему приказал извиниться. Но меня он не слушает!

А потом мать вдруг говорит:

— Я плачу за сына деньги за учебу, а не за то, чтобы его последними словами обзывали. Я бы его лучше тогда в сапожники отдала — там ругаться тоже сумеют, и бесплатно.

Тут многие засмеялись, другие кричат: «Говорите по существу!» А Павлицев улыбается тихоновской матери и подмигивает: «Так, так, правильно».

А мать вдруг, главное, опять:

— Я плачу деньги за его воспитание. Здесь есть педагоги и воспитатели, пусть они на него воздейст-

вуют, он и извинится перед господином Максардовым. Меня он не слушает. Ну, посадите его в карцер, без обеда на неделю, но только не исключайте, прошу вас...

Тут из рядов какой-то родитель бахнул:

— Жаль, что порка отменена... За такое дело ничего лучше порки нет!

Потом многие родители стали говорить — кто за Тихонова, кто против. Больше против. Один говорил:

— Из-за какого-то грубияна ученика такая буча! В чем дело? Почему забастовка?..

Другой — сердитый старичок — так:

— Если мы начнем потакать дерзостям, то у нас будет не средне-учебное заведение, а какое-нибудь городское училище или притон бандитов и жуликов! Пресечь в корне!

Этому старикашке поддакнул подержанный господинчик в белом жилете — отец, оказывается, нашего Умялова. Он встал и, главное, даже стулом стукнул:

— Я требую войти с ходатайством к правительственному комиссару города о немедленном роспуске всех и всяких ученических комитетов. Немедленно! Категорически!

Тут поднялась шумиха — кто в лес, кто по дрова! Мой отец вдруг слова просит. Он сказал:

— По-моему, нам сейчас рано обсуждать, кто прав, кто виноват. Мы ведь еще не выслушали другой стороны. Что скажут ученические комитеты!..

Здесь встает классический директор. Не встает, главное, а вскакивает. А сам рыхлый, как тесто, — волнуется.

— На мой взгляд, — говорит директор, — дальнейшие прения излишни. Вопрос ясен! Мы создали

это собрание, чтобы прекратить вздорную забастовку. Я не против ученических комитетов, я за ученическую общественность. Но я против того, чтобы учащиеся захватывали власть в школе. Это не игрушка!..

Потом директор подробно объяснил, что такое учащиеся и что такое учитель и кто кому должен повиноваться. В заключение изрек: ученик Тихонов или должен извиниться, или не будет принят обратно в гимназию. Забастовку прекратить воздействием родителей на своих детей.

После него встал наш директор. Лысый председатель позвонил, а директор стал откашливаться «Гмы-гмы!» Все притихли. Наш директор — не чета классическому. Встал — и прямо как орел или Наполеон и даже величественней. Директор моего отца в переплет.

— Я, — говорит директор, — не знаю, каких объяснений ждет гражданин Телегин от ученического комитета. Вопрос этот достаточно освещен. Меня интересует другое — понимают ли господа забастовщики самый смысл забастовки? Забастовка бывает у мастеровых на заводах. Там есть хозяин, который, как теперь говорят, «пьет рабочую кровь». Мастеровые с ним борются, скажем, за лишнее жалование, за то, чтобы меньше работать. Они устраивают забастовку. Это понятно. Но за что же борются с нами наши учащиеся? Не за то ли, что мы их учим, не за то ли, что мы приносим им пользу, просвещаем, делаем культурными людьми? И за это-то они и бастуют? Это все равно как если бы я протянул нищему пятак, а он мне ответил: «Я не возьму ваш пятак, потому что я бастую!» (Тут чьи-то родители противно хихикну-

ли. Мы тоже прыснули, но иначе.) Как бы надо было назвать такого нищего?

Все притихли, а потом отец Яшмарова, рядом с директором, гаркнул:

— Дураком!

И еще больше от удовольствия покраснел. Главное, сострил, называется! А директор будто этого не слышал, но я заметил, что он улыбнулся и скосил глаза на учкомовские места.

— Я предлагаю, — сказал директор, — о смысле забастовки предоставить слово ученическому комитету...

27 марта, утром

Хотел поговорить с отцом по поводу вчерашних разговоров в Реальном, но проспал: отец ушел. Впрочем, лучше. Может, это слух, а я, главное, как баба, буду зря трепаться. Сегодня выяснится как следует, и тогда расскажу ему, — может быть, что посоветует.

Дальше о собрании родителей.

От двух учкомов говорил Павлищев. Молодец! Ядовито! Говорил он больше всех, и я все записать не успел, так как кое-где мы хлопали, чтобы его приободрить, или кричали «тише» на родителей-выскачок.

Речь Павлищева

— Я начну, — сказал Павлищев, — с последнего оратора. Гражданину директору Реального училища угодно было сравнить учащихся с нищими. Оставляю это незавидное остроумие на совести говорившего... (Ядовито! Наверное, заранее придумал!) Я отвечаю собранию о смысле забастовки.

Да — преподаватели учат учащихся, да, —

преподаватели приносят пользу, просвещают и так далее учащихся. Это бесспорно. Но значит ли это, что учащиеся находятся в крепостной зависимости (это хотя из учебника истории, — там есть «крепостное право», а в другом месте «крепостная зависимость», — но здорово!) от преподавателя? Значит ли это, что преподаватель может безнаказанно оскорблять ученика? Нет, не значит! Но если бы мы согласились с этим — это значит мы вернулись бы к «бурсе» (это из Помяловского) или, в лучшем случае, к дореволюционному периоду...

Гражданину директору непонятно общее между забастовкой на заводе и у нас. Разрешите объяснить (тут выскочки-родители стали галдеть: «Профессор какой!», «Яйца курицу учат!») Мы на них с места кричим: «Тише, дайте говорить!»)... И мы и рабочие забастовкой боремся за свои права. Рабочие, например, за заработную плату, а мы — за уважение к личности учащегося. Личность ученика Тихонова была оскорблена. Мало того, была оскорблена преподавателем Максардовым и ученическая организация — наш ученический комитет! Извинений не последовало.

(Тут еще он что-то говорил, но я не записал, так как мы хлопали Павлищеву и просили председателя, чтобы он не затыкал нам рты звонком... Дальше, в общем, говорил об учкомах.)

...Ученический комитет является достоянием революции. И кто против учкома, тот против революции. Здесь шустрые люди (так и сказал — «шустрые») жалели, что нет порки в гимназиях, и предлагали разогнать ученический комитет! Стоит ли говорить, что с такими родителями нам не по пути (некоторые родители тут, главное, возмутительно)

зашумели, но мы тоже на них, чтобы тише). Наш уважаемый директор не против того, чтобы были учкомы, но он против того, чтобы мы захватывали власть в школе. Гражданин директор преувеличивает. Ту власть, которая принадлежит педагогам, мы не захватывали и не будем захватывать.

От имени двух ученических комитетов имею предложения. Первое: ученик Тихонов должен быть возвращен директором в стены гимназии. Второе: ученик Тихонов должен публично извиниться перед Максардовым за слово «жандарм». Третье: преподаватель Максардов, в свою очередь, публично извинится перед учеником Тихоновым за слово «прохвост», а также перед ученическим комитетом за выражение «телячий комитет». Мы предлагаем это сделать завтра же утром, у нас в гимназии. Ученик Тихонов готов принести извинение. Если же ученик Тихонов не будет возвращен в гимназию и если гражданин Максардов откажется принести свои извинения и Тихонову и учкому — то, — тут Павлицев обвел взглядом весь зал гимназии, — то забастовка продолжается! (Шум, звонок, выкрики. Павлицев поднял руку, чтобы кончить.)

Мне поручено передать, что если завтра до двенадцати часов дня извинения Максардова не последуют, то ученические комитеты вынуждены будут требовать удаления гражданина Максардова из стен гимназии.

На этом Павлицев кончил.

Бегу в Реалку — что-то там скажут. Дальше было неинтересно — шумели, спорили. Впрочем, нам сразу же предложили покинуть зал, так как там, говорят, остались на повестке другие вопросы. Врали, конечно (мне отец потом сказал). Мы все, словно

по команде, встали и бодро ушли. Родители-выскочки кричали вслед:

— Наговорили дерзостей — пора и честь знать!

А Павлищеву, когда проходил мимо, одна злая барынька, задыхаясь, сказала:

— Если бы у меня был такой сын, я бы... я бы...
Бегу в Реалку. Интересно: правда или нет?

27 марта, вечером

Телята мы, телята! Провели нас за нос! Больше никому верить не буду. Надо самому... Все оказалось правдой. Забастовка сорвана. И как сорвана! Павлищев — предатель! Слухи подтвердились.

Утром 26-го, на следующий день после собрания классический директор пригласил Павлищева «на чашку кофе» (директор здесь же, при гимназии живет). О чем они говорили — неизвестно, только, главное, после был прислан служитель на квартиру ученика Тихонова. И дело покончили так: Тихонов принят в гимназию, ни Максардов не извинился, ни Тихонов — «слава в вышних богу и на земле мир, в человецех благоволение». Ловко! А «телячий комитет» Павлищев спокойно проглотил и улыбнулся! Предатель! Ну, может быть, директор «выразил сожаление» по поводу «телячьего комитета», но где общественное, всеобщее извинение? Значит, постановление двух учкомов, о котором сам же Павлищев распиался на родительском собрании, не существует!! Оскорбили кроме Тихонова весь учком гимназии, а Павлищев один «улаживает» это дело! Их учкомовцы тоже хороши! Курицы!

Павлищев своим учкомовцам так объяснил:

— Мы на родительском собрании увлеклись... Не нужно излишне раздражать ни педагогов, ни роди-

телей. Мы все-таки можем исход дела считать нашей победой.

Не знаем, что учкомовцы отвечали, только забастовка по Классической была отменена в тот же день, то есть вчера. И сегодня в гимназии уже занимались.

Когда нынче Круглов и Кленовский рассказали нашему учкому про предательство в Классической, то мы, конечно, решили забастовку продолжать до того, пока при всех будет общественное извинение. Но некоторые, главное, стали доказывать, что это смешно, раз гимназия уже учится и раз они уже уладили свое дело.

А я говорю: «Это не «свое», а общее дело — и нас касается». А Кленовский говорит: «Пускай общее, но «дела»-то уже нет. Пускай позорно, но уже улажено!»

Тут и другие стали говорить: «Не за что бастовать». Проголосовали. Почти все — отменить.

Завтра занятия. Завтра же решено идти в Классическую на учкомовское недельное собрание и потребовать (поскольку мы боролись вместе), чтобы Павлищева убрали из учкома к чертовой бабушке.

28 марта, утром

Вчера я с отцом говорил о предателях. Очень интересно.

В каждой партии, оказывается, могут быть предатели. Тот, который работает в партии, как и все члены, а потом доносит в полицию о работе партии, за что получает деньги или жалованье, — это, как известно, провокатор. (Павлищев к этому не подходит.) Был такой всемирно известный провокатор Азеф, который много лет работал в партии, и ни-

кто прямо не мог догадаться, что он провокатор. Но все же провокатора можно узнать по тому, что он задается больше всех и лезет, главное, в самые опасные места, чтобы ему безусловно доверяли (вот тут есть сходство: Павлищев больше всех задавался!).

Есть еще предатели, которые называются штрейкбрехерами. Это те, что во время забастовки работают или учатся, вроде Яшмарова и Жучкова. Я, главное, и тогда знал, что они штрейкбрехеры (Павлищев к этому не подходит, он не учился). Штрейкбрехера узнать трудно, но больше они берут из малосознательных или подкупленных. С ними борются так: исключают из союза, бойкотируют, в общем — не разговаривают и не здороваются с ними. Вроде как пустое место. Но если это не помогает, то ловят в переулках и безусловно бьют. И когда бьют, то говорят, за что бьют, чтобы штрейкбрехер, главное, не подумал, что это хулиганы или бандиты на него напали (Яшмарова и Жучкова бить, конечно, теперь поздно, но бойкотировать надо).

Хуже всего, когда предатель пролезает в главные — в председатели и в прочие. То есть вначале он не предатель, но, когда захватывает власть в партии, он, главное, вдруг начинает самолично переговариваться с буржуазией, а своих презирает и не считается. Пока его разоблачат и выгонят, он много напакостить может.

Павлищев к разряду этому очень подходит — прямо в точку! (Не понимаю, чем его директор соблазнить мог? Не денег же он ему предлагал? Наверное, Павлищеву было лестно: дескать, раз только меня директор позвал, значит, я один могу

или окончить забастовку, или продолжать. Подлюка какой, Наполеон нашелся!)

С отменой забастовки у нас отец тоже согласился: «Если, говорит, не раскусили Павлищева вовремя, теперь нечего после драки кулаками махать».

Между прочим, отец сказал, что раз мне уже скоро 17 лет, то пора политические книжки читать и вообще просвещать свою сознательность. В библиотеке Реального у нас есть только «Политическая экономия», которую проходят в седьмом классе, и то очень тонкая, один, главное, переплет. Отец мне принесет сам. Кроме того, я просил его обязательно захватить книжки о предателях и, безусловно, об этом всемирно известном провокаторе Азефе. (Помоему, Азеф — это кличка была! Нет таких ни имен, ни фамилий. А если обратно читать — «Феза», тоже не фамилия, а скорее женское имя. Не был ли он женщиной?)

Бегу в Реалку. Как-то сегодня, впервые после забастовки, будем учиться! А потом помчимся в Классическую на учкомовское собрание. Вот разнесем!!! Я теперь, главное, знаю, как Павлищева разделать!

Павлищев — обратно: «Вещилвап»! Интересно!!!

10. Два письма

Москва, 12 июля 1917 г.

Уважаемая Анна Иннокентьевна!

Написал и испугался, очень уж громко: Анна, да еще Иннокентьевна! Лучше — Ася. Вы ничего не имеете против?

Только вчера вернулся в Москву, к брату. Пробуду тут две недели и — домой, в Т-у. До этого я был в Херсоне, в сельскохозяйственной дружине учащихся. Что было и как — расскажу Вам потом, по возвращении, но думаю, что это Вам не интересно.

Очень буду рад, если Вы, Ася, что-нибудь напишете, если хотите, конечно, и если меня не забыли. Видите ли Лисенко?..

Я вспоминаю многое... многое, такое дорогое мне и близкое. Помните, Вы выдернули из-под меня стул во время «римского папы»? Какие мы дети были, а это было так недавно, в этом же году! А помните, Ася, я шел в Реальное, а Вы в гимназию, я не поклонился Вам, и Вы тоже не поклонились (даже как бы отвернулись!), а потом, когда прошли, вдруг оба сразу оглянулись друг на друга и улыбнулись. Мне тогда хотелось вернуться, подойти к Вам и сказать что-нибудь нежное, но я не подошел и не сказал. Всегда вот так: стыдишься хорошего, а нехорошего не стыдишься, то есть стыдишься потом, а зато делать плохое легче.

Помните, как я Вас обидел на вечеринке нашего класса своим низким поступком? Да, я, конечно, был пьян во время падеспани. Простите ли Вы мне этот вечер? Напишите, Ася. Ведь с того вечера мы с Вами не виделись по-настоящему и не говорили как следует, и я не мог спросить. Я теперь сильно изменился (видите, какое «смелое» письмо!), но будь сейчас я с Вами, я бы все равно был бы тем же, чем и раньше, — а в письме легче быть смелым...

Напишите, что нового у Вас? О чем думаете? Что читаете? Могу ли я Вас увидеть, когда приеду

через две недели? Какой день Вам удобнее и какой час и место?

Если увидите случайно Борьку Кленовского (он пишет, что в Реальное иногда заглядывает), то передайте, пожалуйста, что я ему напишу или сегодня, или завтра.

До свидания, Ася! Не забывайте! Я Вас помню и скучаю. Пишите!

Уваж. Вас М. Бруси́ков

Адрес: Москва, Малая Бронная...

* * *

Москва, 14 июля 1917 г.

Дружнице Борис!

Ну вот я и опять в Москве, у брата. Твое письмо получил. Хорошо, что ты написал прямо на Москву, а не на Херсон. Мы уехали оттуда раньше, и оно бы там пропало.

Расскажу тебе коротко, как случилась наша поездка.

Находясь в Москве, у брата, я узнал, что набирают дружину из учащихся для сельскохозяйственных работ в Херсонской губернии, так как из-за войны не хватает рабочих рук. Обещали платить чуть не 5 рублей в день, на всем готовом. Это было здорово! Да и проехаться на юг, посмотреть море и вообще путешествие. Я записался. Записал, на всякий случай, и тебя и Телегина. В тот же день выехал в Т-у. Тебя в городе не оказалось, о чем мы с Антошкой жалели, но надо было спешить, так как через три дня дружина уже отправлялась, а надо еще собраться, доехать до Москвы и так далее.

Телегин согласился ехать. Собирались мы быстро. Решили на дорогу, на первое время, попросить у городского комиссара сахара и крупы. Удостоверение у меня было, что я дружинник. Пришли в бывший губернаторский дом. Смотрим, в приемной «красные воротники» — дворянчики скопились. Оказывается, пришли просить у комиссара разрешение на вино, для выпуска восьмого класса (их почему-то позже нас выпускали).

Короче говоря, какой-то комиссарский чиновник не дал нам ни сахара, ни крупы. А насчет вина дворянам не знаю — мы не дождались, ушли.

Через день были уже в Москве. И в тот же день, вечером, «1-я Московская сельскохозяйственная дружина учащихся» выехала в Херсон.

Было нас 200 человек. Занимали мы 8 теплушек (по 25 человек). Каждая команда — теплушка. Мы с Антоном попали в шестую команду.

Ехали ничего, весело. Часто останавливались. Был у одного, у Петрушевича (московский гимназист), большущий жестяной чайник, туда прямо ведро входило. Он с ним бегал за кипятком, и мы все пили чай. Перед Курском он стал на ходу поезда из чайника вытряхивать чай в дверь. Чайник от ветра у него вырвался и — прощай! Поминай как звали! И что же? Этот Петрушевич прямо был доволен. «Мне теперь, — говорит он, — с ним не бегать и не таскать такую тяжесть. Буду со своей кружкой ходить за кипятком. А чайник не мой, а дядькин, а мы с ним в ссоре. Что бог не делает — все к лучшему!» А тут какой-то маленький коммерсант-слюнтяй заплакал: «А из чего-о-о мы теперь чай будем пи-ить!..» Было еще три маленьких чайника, но чаще ходили за кипятком со своими кружками.

Доехали до Николаева. Тут мы увидели кусочек моря, но оно было загорожено баржами, кораблями и пароходами, так что никакого впечатления. В Николаеве нас разделили: первые 5 команд остались под Николаевом, а остальные три команды (в том числе и наша) погрузили на пароход и отправили по Днепру в Херсон, а оттуда в имение князя Трубецкого.

Приехали в имение. Князя не было — не то куда-то удрал, не то в отъезде. Встретил нас управляющий имением, ласковый старичок Михаил Михайлович. Расположились мы в бараках, на топчанах и соломе.

Утром понаехали крестьяне. Узнали, что привезли работников, — обрадовались. Мужички приехали на своих лошадях — и сами толстые, и лошади толстые, откормленные.

Помнишь ли ты, Борька, «Хижину дяди Тома»? Ну так вот: нас выстроили в шеренгу, как невольников-негров, а сытые мужички ходили мимо нас — от одного к другому, щупали наши руки, мускулы, разве только зубы не разглядывали — ну прямо «Хижина дяди Тома»! Управляющий Михаил Михайлович с мужичками спорил и себе оставлял дружинников покрепче и повзрослее. В общем, мужички взяли человек 25—30, погрузили их на телеги и покатали к себе домой.

Я и Антошка остались в имении. Человек 40—50 осталось здесь. Земли у князя Трубецкого очень много. Полевые машины, конюшни, коровы. Кроме нас работали нанятые батраки, их было много — в двух бараках ночевали.

И вот началась каторга!

Будили нас в пять часов утра, вместо чая кор-

мили с утра пустыми галушками из каких-то корыт на десять человек. С шести часов утра и до восьми вечера (14 часов!) работали на огороде: пололи картошку мотыгами. На обед давали полчаса, и мы опять ели галушки в корытах и еще пшеничную кашу. После работы, вместо вечернего чая, опять эти чертовы галушки!!! Некоторые работали на княжеских виноградниках, ели зеленый виноград и болели, но мы им все-таки завидовали: как-никак — виноград! Вечером доползали до соломенных тюфяков и не раздеваясь засыпали.

Ласковый старичок, управляющий имением, Михаил Михайлович оказался отчаянной сволочью. Сам лично присутствовал на работе и вроде надсмотрщика-англичанина командовал, подгонял, ругал нас — «негров». Вместо обещанных в Москве 5 рублей в день, он нам платил 1 рубль 60 копеек, да и то говорил, что это много. И, между прочим, денег не выдавал вообще...

На пятый день нашей каторги стали пешком прибывать в имение ребята, увезенные сытыми мужичками. Приходили они зеленые от усталости, голодные. У них оказалось еще хуже. С восхода и до захода солнца — с четырех часов утра до восьми вечера — работали на сельскохозяйственных машинах в поле. Кормили их похлебкой и хлебом и ни копейки не платили!

Кто во всем этом был виноват — неизвестно! То ли мы, что не были приспособлены к крестьянской работе, то ли Михаил Михайлович и его приятели-мужички, очень обрадовавшиеся даровой силе.

Мы с Антоном в княжеском имении никакой революции не обнаружили. Михаил Михайлович жил как бог в княжеском доме, крыл и нас и наемных

работников. Крестьяне с просьбами приходили к нему на крыльцо, снимали фуражки и стояли, как в церкви, ожидая, когда покажется этот ласковый черт. Телегин набрался как-то храбрости и заговорил с Михаилом Михайловичем по этому поводу. Михаил Михайлович и разговаривать не стал — махнул рукой:

— Здесь не Москва! Вы, дорогие мои, приехали работать, а не политикой заниматься! Берите мотыгу и марш на место, любезный!

Прошло недели две. Чувствуют все ребята, что дальше нет сил работать. Надо домой сматываться.

Начали говорить с Михаилом Михайловичем, а он на дыбы: вы, дескать, на месяц приехали, как уговорились с Москвой, и раньше этого ни денег не заплачу, ни вагонов вам обратно доставать не буду!

Мы ему, конечно, всякие доводы: во-первых, вместо 5 рублей — 1 рубль 60 копеек, во-вторых, кормят одними чертовыми галушками, в-третьих, 14 часов работы!

Михаил Михайлович отвечает:

— У нас все работники получают один рубль пятьдесят копеек. Кроме галушек, ничего (то есть каши) им не дают, и работают они пятнадцать часов. Скажите спасибо, что вам такую поблажку и комфорт делаю. (Так и сказал, подлец, «комфорт делаю!».)

Делегация от «негров» послала его с этим самым «комфортом» подальше... и — что же делать? — ушла. Продолжали работать.

Наступило воскресенье — по воскресеньям не работали. К батракам жены приехали из деревень, и крестьяне к Михаилу Михайловичу за всякими «милостями» пришли. Мужички, что наших ребят

увозили, тоже приехали — по пути, недалеко база; был. Народу собралось много. Дружинники наши здесь же болтались. Начали с крестьянами заговаривать.

Антон и Петрушевич (это тот, который чайник потерял) собрали вокруг себя группу мужиков и стали агитировать: вот в Москве и вообще в России революция, но Временное правительство обманывает народ и не хочет ни заводов рабочим отдавать, ни земли крестьянам, — все как при царе. Но в Петроград приехал главный большевик — Ленин, и он им покажет, как обманывать (тут Телегин зачем-то про нашу забастовку в Реальном ввернул). Во многих губерниях крестьяне уже сами прогнали помещиков и захватили их земли. Чего же вы терпите? Над вами измывается княжеский прислужник, и вы у него во всеобщей кабале и крепостном праве и так далее.

Тут к Антошке и Петрушевичу вдруг, откуда ни возьмись, подлетел ласковый Михаил Михайлович.

— Не слушайте их, — закричал он, — это немецкие шпионы! (Это Телегин-то шпион!.. Да еще немецкий? У него все года по-немецки двойки да колы!) И Ленин шпион... Немецкие деньги... Предатель!.. В Москве их арестовывают...

Тут, конечно, галдеж начался! Кто за кого! Михаила Михайловича приятели-мужички за него, а батраки и кое-кто из крестьян больше за Телегина с Петрушевичем. Подбежали наши дружинники, узнали, в чем дело, о чем разговор, — и тоже галдеж. Одни вдруг за Михаила Михайловича, а другие за «шпионов».

Наговорились до хрипоты и разошлись спать.

Утром на работе Михаила Михайловича не было,

а к обеду вернулся, вызвал наших старшин и сказал им, что он ездил в город, хлопотал: завтра дадут четыре вагона. Сегодня произведет с нами расчет, и завтра же чтобы все мы до одного уезжали.

Вот как вышло! Кто бы мог подумать, что агитация поможет?

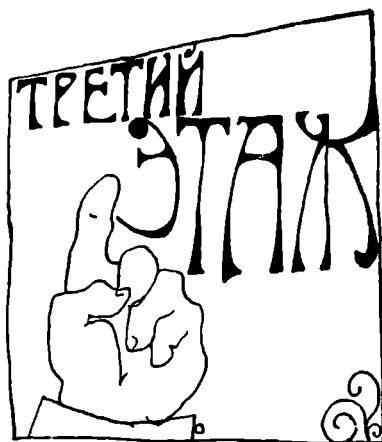
Уехали.

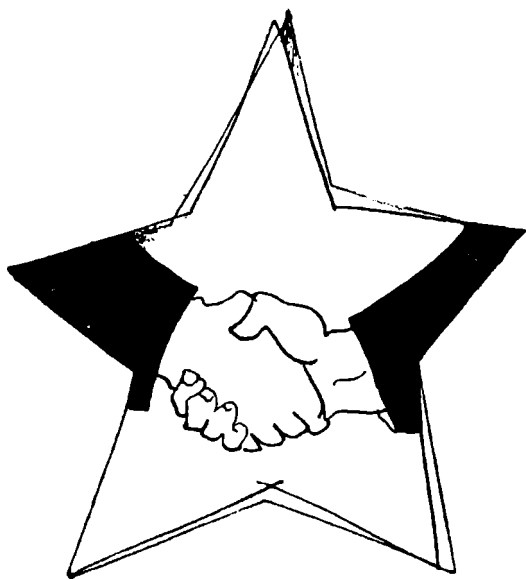
За обратную дорогу ничего интересного не было. Только в городе Орле прицепили к нашему поезду 5 вагонов с женским «батальоном смерти». Они все бойкие и смелые, в мужских рубашках и галифе, а внизу чулки и туфли на каблуках. У некоторых чулки прозрачные. Мы «батальон» разглядывали всю, но никто в них не влюбился, так как говорят, что они с бульваров набраны и вообще в брюках как-то смешно — не женщины!

Доехали до Москвы. Вот и вся наша история. В общем, мы не жалеем, что ездили: заработали, конечно, чепуху, но так, кое-что посмотрели, новое увидели, услышали, и вообще нам с Антошкой кажется, что мы прямо выросли за это время! Телегин, наверное, у вас там, если только куда еще не махнул. Недели через две я тоже приеду. В Москве сейчас очень интересно. На Страстной площади, около памятника Пушкину, все время митинги, и даже ночью. При мне было: подъехал темный, без огней, автомобиль, поймал двух большевиков около памятника и увез неизвестно куда. Расскажу, когда приеду, а то и так письмо толстое.

Ну, пока! *Миша.*

Пиши! Адрес знаешь: Москва, Малая Бронная...





1. Программы

...Венец училищной мудрости; подготовительный класс взрослого техника, инженера, чиновника, педагога; томительный канун будущих усов, штатского платья, жены и, конечно, замечательной, удивительной жизни. Третий этаж — шестой и седьмой классы...

Но вихрем понесло, дыбом встало последнее, третьезатяжное.

Загудели этажи последних реальных училищ.

* * *

Вызваны шестиклассники, спрошены, поставлены отметки. Задан урок на следующий раз. В пухлых учебниках истории Платонова быстрые карандашные крестики и рядом «д. с. п.» — «до сих пор».

Самое сладостное, самое возвышенное Семьянин отодвигает к концу. Отрешенный от учеников, отметок, учебников, Семьянин из угла в угол — мягкими убаюкивающими шагами: объясняет урок.

...Из десятилетий перешагивая, раздвигая года в стороны, могуче выступает грузный миротворец-государь. Русая борода, широкие плечи, крепкая поступь. Крепкий государь, крепкие законы...

Но Семьянин не может... Семьянин не может не вспомнить того... Листаются страницы Платонова, листаются цари, царицы, императоры, но память, воображение безысходно тянут назад, безысходно к «нему»... И тает русая борода Александра III, и крепкая поступь назад в десятилетия. И вот он!

Из веков сурово глядит Амстердамский плотник. Страшные плечи великана. У великана чугунный

шаг. И будто все чугунное. Только бойкие усики — вправо-влево, и живет чугун...

Семьянин мягкими восторженными шагами из угла в угол.

...Из веков вокруг чугунного государя возникают моря, российский флот, ассамблея, дворянские бороды и кафтаны (Семьянин улыбается, словно шутке любимого шалуна-сына)... Да, бороды и кафтаны! Самолично ножницами резал дворянские дремучие бороды, перекраивал на живом дворянине его кафтан. И бежал прочь дворянин, обгрызенный высочайшей рукой, высочайшими ножницами...

Но урок, урок! И опять — к русой бороде. Государь-миротворец, но крепкий государь, достойный того чугунного предка.

Вялое, пожелтевшее лицо Семьянина цветет. Убаюкивающими восторженными шагами — из угла в угол...

И вдруг из-за парт глухо:

— Как же так! Царя свергли, а мы всё о царях учим?!

Шаги на исходе. Остановились. Вялое и пожелтевшее лицо в повороте:

— Ну и что?

— Не надо про них учить...

Мерцают пугливые ресницы, подергиваются губы. Мягкий, ватный голос:

— Если бы вы, Лисенко, были в первом или во втором классе, вы бы сейчас вылетели за дверь. Но шестикласснику я объясню: программа по курсу истории не отменена и, надо думать, не будет отменена. Извольте слушать курс!

— Дело, Игнатий Тихонович, не в программе, а...

— ...а в том, как ее проходить.

Голова круто в бок, мягко:

— А как же ее проходить, гражданин Гришин, или кто это сказал — Кленовский?

— Мы оба сказали. Нужно по-новому смотреть...

Злое, побледневшее лицо надвигается на парту. Ватное, мягкое — взвизгивает:

— Молчать! Что же, вы меня будете учить, как читать историю? Может быть, тогда потрудитесь на кафедру взойти! А я уж посижу за партой...

И Семьянину вдруг весело: Кленовский на кафедре, а он сидит за партой. Косая улыбка поднимает правую щеку.

Ах, вот Телегин еще...

(...Прошлый год... забастовочный пикет — Телегин: «Вы меня не агитируйте, я вас всегда, Игнатий Тихонович, уважал... После революции вы веселый были... Я думал, вы за забастовку, за нас, а вы против». И теперь то же упрямое, узкое лицо.)

— Мы вас, Игнатий Тихонович, не хотим учить. Вы знаете, конечно, больше нас, но вы, главное, не говорите всё, как по-настоящему было! Правда, не говорите! Какой же, например, Александр Третий миротворец, когда его звали «жандарм Европы»?! Петр Великий, может, в сравнении с другими царями, и светлая личность, но, во-первых, казнил стрельцов, бунты подавлял, войны вел... и вообще, главное, одним словом... это царь, а вы, Игнатий Тихонович, на него молитесь!..

Вялое, подергивающееся лицо плывет от парт в угол... Вот бы сюда «его», чугунного, со страшными плечами великана. Высочайшие ножницы и... шейстельки.

— Довольно! После урока поговорим... Продолжаю... Я остановился на...

Из дневника Михаила Брусникова

16 сентября

Три дня назад прошел слух, что вместо Броницына будет у нас в шестом по русской литературе Цоколев. Новый преподаватель. Хорош он, плох — неизвестно. Но только мы стали хлопотать и через учком и через директора, чтобы нам оставили Броницына. Директор нас не принял и сказал, что это не наше дело, — выбирать преподавателя, что Реальное — не университет.

Но устроилось все к лучшему — остался Броницын. Он строг, ехиден, учеников подковыривает, если, например, кто сдерет у соседа сочинение. Василий Андреевич тогда берет две эти тетрадки, читает вслух классу и начинает издеваться. Но его все-таки любят. У него — справедливо. Сегодня можешь двойку получить, а завтра — пять. А большинство так: двойку поставил и, как хорошо ни отвечай потом, — три с плюсом, самое большее — четыре. На лето задавал нам читать и делать выписки из того, что особенно нравится. Я теперь это всегда делаю.

Телегин же сказал, что выписывать не будет. Читает много, но выписывать некогда. Кстати, говорит, что и дневник бросил писать еще с Херсона, с лета, — тоже некогда. Ну, это чепуха! На дневник всегда можно время найти. Хотя я тоже все реже и реже пишу.

Сегодня говорил с семиклассником. У них то же самое: значит, Толстого, Чехова, Куприна, Бунина и других русских классиков в Реальном не успеем

пройти! Зачем же тогда мы четыре года трубили Хераскова, Карамзина, Тредьяковского и прочих! Только язык ломали.

Я читал недавно «Поединок» Куприна. Вот бы его разобрать с Василием Андреевичем! Интересно! Еще прочел Чехова, — забыл, как называется. Это, в общем, у студента живет девушка, которая его любит, но он ее не совсем, хотя она ему как бы жена. И вот они должны расстаться. Но он готовится к экзамену по анатомии и просит ее подождать немного. Она снимает кофточку, а он рисует у нее на теле углем ребра и их нумерует — где какое ребро.

В общем рассказ смешной, хотя я не смеялся. Как это можно так с девушкой поступать! Вот, например, с В. или даже с Асей. Ни за что! (Кстати, как я Варю давно не встречал!)

Мы говорили с Броницыным о программе, а он говорит, что в программе Толстой и Чехов есть, но до него седьмой класс обычно не доходит — не хватает времени. Только-только Гончаровым и Тургеневым закончить!

2. Что-о??!

Из дневника Михаила Брусникова

27 сентября

С законом божьим что-то неладное происходит. Мало ходят на него. Преподает у нас тот же желтоволосый батюшка, что когда-то был еще в нижнем этаже. Если бы на Епифанова не ходили — еще понятно, но желтый строгий — не подступись.

У младших на Епифанова ходят, но ходят, понятно, ради баловства, ради смеха. Далекое, невозвратимое время! А всего два-три класса отделяют нас от этих веселых уроков... «Телегин, Каретников, Бричкин, Тарантасов, турусы на колесах, пшел вон из класса!» Я не понимаю только одного: если бы педагогический совет хотел, чтобы действительно учили закон божий, то надо было бы, чтобы желтый батюшка преподавал во всех младших классах, и тогда бы там не баловались. А Епифанов — в старших. Понятно, старшие при нем не дурачились бы. Кроме того, Епифанов ведь — академик и может заинтересовать старших больше, чем простой батюшка, то есть желтый.

Кто-то пустил слух, что закон божий теперь не обязательный. Но директор приказал классным наставникам «внушить» нам, что это вздор: закон божий обязателен, как и алгебра, физика и прочее. Но все же кое-кто не ходит и агитирует других не ходить, потому что, говорят, бога нет, к чему учить о несуществующем!

Конечно, не мне решать, есть он или нет, но только непонятно. Если бога нет, тогда зачем церкви существуют, почему есть миллионы верующих — и не старухи, а даже профессора и вообще ученые. Или отец, не стал бы он мне говорить неправду! Он сам в церковь ходит, говеет. Значит, бог есть.

Но если он есть, тогда зачем он допускает, чтобы кто-то сомневался в том, что он есть? Какая ему радость! Раз он всемогущий, то он может внушить всем сомневающимся, что это вздор и что бог, конечно, есть! Но сомневающиеся все-таки имеются. Значит, он им внушить не может. А раз не может

внушить, значит, он не всесильный, а раз не всесильный, значит, не бог. Вот что получается, но непонятно!..

Между прочим, о преподавании закона божьего хотят устроить в этот четверг родительское собрание. Вот бы пролезть с учкомовцами (они, конечно, будут)...

Может быть, на собрании выяснится окончательно и безусловно, есть бог или нет!..

* * *

Председатель родительского комитета рыжебородый Яшмаров грузно встает. Никелированный звонок трепещет во взмокшей руке. Звук тонкий и нежный, будто хрупкое чоканье хрустальных рюмочек.

— Господа! Вопрос, во всяком случае, ясен! Не будем слишком строги. Ученический комитет будет не лишним нам... Во всяком случае, мы его поставим в известность. Итак, голосую: кто за то, чтобы впустить ученический комитет... раз, два, восемь... Разрешите считать, большинство. Будьте любезны, — жест к двери, — попросите их!..

Дверь настежь. Собрание снисходительно косится на дверь: сейчас «они»...

И вот: тихо, будто в церковь, входят. Ладонью волосы вниз, вверх, вбок (у кого как: прямой пробор, ежик, пробор сбоку). Чем дальше — шаг свободнее, смелее... Их позвали, они нужны. Но почему не с начала собрания, почему только сейчас?..

Круглов — председатель учкома — шагает решительно к намеченной точке — стулу. Прямая линия: дверь — точка.

Пунцовый Кленовский продвигается мелкими шажками. Первое пенсне неловко, вкось держится на переносице — бабочка на ветру. Полное тело и потому кушак с пряжкой Т.Р.У. натянут и тесен. Жарко. На бледной щетинке над верхней губой матовая испарина.

Странно идет Телегип. Он всегда так, даже когда был «потешным», даже на гимнастике: левая нога вперед и левая рука вперед, правая нога — правая рука. Вслед поочередно выносятся и угловатые плечи. Узкое лицо наклонено, черные глаза вбок — по родителям, по рядам. Не рассмеяться бы («Точно арестантов, впускают последними, а это — судьи!..»).

Среди учкомовцев младших классов — опально и незаконно Умялов и Брусников.

Горделиво, но не вылезая из-за спиц, идет рослый Умялов. Крепко стянутый кушак — отчетливая талия, прямой пробор рассекает прижатую к плечам голову, у висков — модные бачки. От пепельных гетр шаг кажется легким, осторожным.

Торопливый Брусников будто и не на собрание идет... Он только вот догонит Круглова, что-то ему скажет, что-то передаст и уйдет. Голова набок, серые глаза рассеянно и незаинтересованно бегают по стенам, по окнам, как бы — бог с ним, с собранием!

Солидно садятся на стулья, не громыхнув, не зацепив, будто привычно — будто каждый день родительское собрание! За спиной настороженная тлшина отцов и матерей, впереди — зеленое сукно стола. Из-за стола, одернув пиджак, встает Яшмаров.

— Я обращаюсь к ученическому комитету, — говорит он. — Данное собрание родителей, во всяком

случае, уже обсудило вопрос о преподавании закона божьего в Реальном училище. Обсудило в положительном смысле (по рядам всколыхнулись: «Да, да, в положительном!»). Собрание родителей и родительский комитет обращаются к вам с тем, чтобы вы, как, во всяком случае, наиболее сознательная часть ученичества, помогли бы нам разъяснить среди учеников необходимость, нужность изучения закона божьего... Ни для кого не секрет, что в Реальном училище завелась вредная кучка противников закона божьего, которая мутит все училище и должна быть уничтожена... (Голосы в рядах: «Да, уничтожена!») То есть не кучка, а ее, во всяком случае, вредная деятельность. Известно, что некоторые, поддавшись их тлетворному влиянию, не посещают уроков закона божьего... Родительское собрание надеется, что ученическая организация разъяснит и, во всяком случае...

Яшмаров тяжело садится на стул. Взмокшая рука в волнении касается колокольчика, но тут же быстро накрывает его, заглушает.

Из всех рядов, все головы — к учкомовцам.

Круглов смотрит на Кленовского, Кленовский — на Круглова: кто?!

И вот Кленовский неумело протирает пенсне. Пунцовый Кленовский взволнованно встает. Пенсне целовко, вкось на переносице — бабочка на ветру.

— Ученический комитет, определенно, удивлен... И ему неизвестно, почему вопрос о преподавании закона божьего решался без ученического комитета... Определенно надо сказать следующее, что если мы будем этот вопрос решать не принципиально, а говорить только об одном преподавании, то мы этот вопрос, лишенный принципиальной установки, не

можем разрешить, так как принципиальное решение вопроса, может быть, укажет другое решение, в другом, но определенном смысле...

Родительский вскрик:

— О чем он говорит?!

Россыпь смеха — пристойного, солидного, взрослого смеха. Но и свои шипят около Кленовского:

— Борька, чертова кукла, яснее!..

— Чего мелешь?

Круглов встает, садится. Кленовский — на Круглова, Круглов — на Кленовского: кто?

Еще шепот:

— Не валяйте, главное, петрушки!.. Смешно сейчас заменять Кленовского! Крой, Борька, дальше, короче, яснее. Сними, главное, пенсне к черту — мешает тебе!..

Пенсне в самом деле запотело: расплылись зеленые просторы стола. Яшмаров — черное призрачное пятно. Неловко, царакая перепосицу, соскакивает пенсне. Кленовский надевает привычные очки. И вдруг: ярко блеск колокольчика, ярко — трава на солище — стол, отчетливо — вразумительная, грузная фигура Яшмарова.

— ...Я хочу сказать определенно следующее (сзади: «Не надо «определенно»!)... следующее: ученический комитет удивлен, что этот вопрос решен не принципиально, а по-казенному, то есть надо преподавать закон божий или не надо... Ученический комитет думает (в рядах слышно родительское: «Скажите, неужели «думает»!)... что надо вопрос ставить глубже — есть ли бог?..

Нестерпимо хлыстом по залу:

— Что-о-о??

Из рядов, цепляя стулья, в проход:

— Что-о-о?!

В рядах закачались вставшие. Задние:

— Сядьте! Сядьте!..

Неизвестный в белом жилете, с бахромой волос на порозовевшем черепе, стоя, грохает нагретым стулом:

— Не сяду... Пусть мне этот мальчишка повторит еще раз свой гнусный вопрос! Есть ли бог! А? Да знаешь ли ты!..

Человек в белом жилете неожиданно садится. Неостывший стул нервно хрустит.

Дама в синем. Желтая шляпка с белой опадающей пеной газа — увядшее пирожное станционного буфета. Во весь рост, поигрывая черным шнурком нашейных часов:

— Ска-ажите, уважаемый агатол и ваши милые дгузья, — картавя спрашивает она, — не были ли вы в военно-геволюционном комитете? Вы не удивляйтесь. Только человек, побывавший там, может задать такой неуместный, такой глупый, такой чудовищный вопгос!!

Нетерпеливо, пробиваясь через учком, стулья, — побледневший Телегин. Вперед перед Кленовским:

— Да, уважаемый «агатол», мы были в военно-революционном комитете! Не все, но были... Дальше что скажете??

...Фиолетовые шарики перед глазами... Плывут ряды, желтая шляпка-пирожное уменьшается, исчезает, но вот снова вперед, на Телегина. И откуда-то сбоку громко:

— Позор! Ходили к предателям!..

Белый жилет вскакивает, нагретым стулом — об пол:

— Так это большевики!!

Вскрик. Шум. Россыпь смеха. Черно-рыжий Телегин-отец с самым серьезным видом:

— Ар-р-рестовать!! Держи, убежит!..

Человек в белой жилетке отбрасывает стул и снова:

— Моя фамилия известна — Умялов! Я вижу своего сына среди этих... гм... самых... ученических «вождей»!.. Но заверяю все собрание, что мой сын к этим самым людям никакого, я повторяю, никакого отношения не имеет!.. Павел, иди сейчас же домой. Пашка, слышишь?!

3. Корнилов и Скиапарелли

Из дневника Зиновия Яшмарова

8 октября

Сегодня обнаружилась в Реальном еще одна партия — «интеллигентов-трудовиков». Ученики бегают по каким-то комитетам, и их там, как папа говорит, «шпигуют агитацией, как зайца салом». Но в общем их мало, этих самых «зайцев». Больше всего «кадетов». У них даже штаб в самом Реальном находится. То есть, может, это и не главный штаб, но только даже некоторые педагоги там участвуют. Все агитируют за своих на Учредительном собрании. От партии «социалистов-революционеров» в список попал один наш педагог, а от кадетов даже два или три. Про «большевиков» что-то не слышно, есть ли у нас — неизвестно. Было, что кто-то разбросал ихний список № 5. Бумажки эти, конечно, собрали и разорвали.

Вообще много теперь бумаги разбрасывают — каждая партия сама себя хвалит. И на улице клеют, и из автомобилей бросают, даже с извозчиков. Папа говорит, что на эти деньги можно было бы четвертую баню в городе построить. Но сам, между прочим, он выставлен от «торгово-промышленной» партии. И бумажки-летучки у нас дома везде валяются.

Мама говорит, что за границей сейчас хорошо, спокойно. Можно было бы туда поехать, пока полный порядок в России установится. Я об этом размышлялся. Даже страшно подумать, до чего там интересно! Например, под землей трамвай-метрополитен или театр, где танцуют раздетые артистки. Кроме того, ученики старших классов могут шикарно одеваться в штатское платье и даже цилиндр носят. Вот бы!.. Но папа обозвал маму душой и сказал: «А куда фабрику? В карман, что ли, возьму!» А потом, когда спор зашел дальше, папа разгорячился и выпалил: «Вот мисс поехала в Англию, да не доехала!» А мама вдруг: «А ты откуда знаешь?» Папа путал-путал, а потом сознался, что получил от нее из Петрограда письмо. Мама устроила ему сцену за то, что он с мисс переписывается...

Вообще это все скучно! Сколько лет — и все одно и то же. Удивительно, как женщины злопамятны! Если я когда-нибудь женюсь, я ничего не буду говорить жене, и она ничего не будет знать. Я буду ей говорить, как папа своему конторскому мальчишке: «Артамон, подай лимон и убирайся вон!»

10 октября

Еще партия! «Корниловская»! Не знаю, может быть, это только у нас в Реальном. Некоторые стали носить голубые ленточки на груди. Умялову, навер-

ное, какая-нибудь гимназистка ленточку подарила, потому что длинная, вокруг рукава, и бант красивый.

Я спросил Умялова, почему они называют себя «корниловцами», если Корнилов убежал из Петрограда и вообще его разбили. А Умялов ответил, что хотя его разбили, но он жив и скрывается пока на реке Дон, у казаков. Но что скоро пойдет с войсками на всю Россию — освободить ее от анархии...

Не носить ли и мне ленточку? Очень красиво. У Минки, помню, была широкая муаровая лента. Спрошу папу. Он мне запретил вступать и записываться в какую-либо партию. Но тут что же! Освободить Россию от анархии — это хорошо. А потом, Корнилов генерал, а не шантрапа какая-нибудь! Когда Корнилов дойдет до нас, я поступлю к нему в офицеры. Мы уничтожим анархию, потом пойдем на немцев... Разобьем их и победно пойдем дальше. Вот и заграница... Мечты, мечты!..

Интересно все-таки, на какой глубине там трамвай под землей ходит и почему? Известно из статистики, что густота населения на одну квадратную версту в Европе больше, чем в других странах, но неужели так тесно, что трамваев негде пустить — приходится пускать его через метрополитен. Насчет артисток тоже интересно, но я думаю, что все-таки что-нибудь на них надето.

Спрошу завтра папу о корниловцах, а Минку о ленте...

* * *

Таинственная комната физического кабинета. Пюпитры амфитеатром, веером. Глухие черные окна. Тьма. Прорезает тьму шипящий конус света. Конус касается голов. На экране вдруг торчком ги-

гантский непокорный вихор. Гребенка из кармана — не гребенка, а грабли на экране. Грабли наседают на вихрище. Проекционный фонарь поднимает объектив, и головы тонут во тьме с вихрями, с гребенками...

Через две недели в таинственной комнате физического кабинета Гришин на математико-астрономическом кружке будет читать доклад «Жизнь на Марсе».

Книжки, карта неба, диапозитивы. Записки, думы, бред...

И нет Гришина. Гришин там, в розовом мире Марса.

...На ночном октябрьском небе — розовая точка — мир. Итальянец Скиапарелли открыл на розовом мире искусственные каналы. Англичанин Ловелл вычислил поперечную ширину каналов: сто двадцать и сто восемьдесят верст. Итальянец и англичанин увидели оазисы — черные точки на пересечении каналов, узнали температуру, плотность воздуха, высоту атмосферы. И сказали — жизнь!.. Марс обитаем!!!

Чудесное, бредовое возникало над страницами...

...Марс старше земли. Планета уже потеряла воду. Планета выжжена солнцем, как глиняный розовый черепок. Разумные существа, предчувствуя катастрофу, проложили гигантские каналы от снежных полюсов к экватору. И розовый жаждущий мир — в сетке каналов (чарджуйская дыня в космосе). На пересечении каналов узлы: оазисы — города. Чудовищные электрические станции сосут, гонят, перекачивают с полюса золото — воду от города к городу...

..Весной, подобно африканскому Нилу, зеленеют

побережья каналов. На заливных лугах каналов пробивается, цветет, зреет марспанский хлеб (интересно что: рожь, пшеница, кукуруза, овес?). В лесах каналов рождаются невиданные шестиногие звери, и у самки-матери розовое молоко.

...В сетях каналов блуждают они — весенние, влюбленные. Но кто они? Две ли руки у тебя, марсианин? Две ли ноги у тебя, неизвестный? Есть ли глаза, рот, дыхание? Или ты идешь на уэллсовском треножнике — голенастый, высокий, механический, будто фотографический аппарат на штативе... Тогда как же купаться, любить, играть в футбол?!

...Или ты человек-паук с громадной головой-мозгом. Слабые придатки-ручки, ножки — глупый аттачизм: все делает за тебя машина. Ты идешь на этих вялых ножках за газетой до угла улицы и уже устал, уже одышка и тоска. Марсианин, так какой же ты?..

...И города — оазисы. Распластались ли они над поверхностью — стеклянные, солнечные, — или ушли внутрь — ближе к утробному теплу планеты?

...Дома. Какие? Пучок, связка футляров? И вот треножный, голенастый, механический влезает в футляр и спит до утра — мертво, бездушно, словно аппарат, машина, прибор. Или, быть может, дома — пчелиные соты. В комнате-ячейке, в ватном гнездышке зябко дремлет человек-паук. Бессонные вены на голове-мозге трепетно и жалко пульсируют, будто обнажены бессонные.

...Над розовым миром Марса плывут воздушные корабли...

Перед Гришиным карта неба, диапозитивы, книги. Над страницами Скиапарелли, Ловелла, Фламариона возникало чудесное, бредовое...

4. Товарищи!

Директор не вышел. Седой Оскар Оскарович говорил невнятно и путано. И вот перед залом — Семьянин...

...Где-то в его жизни — афишки, листовки... Где-то там надежда, столбчатый горизонт, огненные речи, факел свободы, трогательное равенство, долгожданное братство... Слепые ночи без сна, бессонные мысли о грядущем счастье... Люди-братья постепенно, бескровно и радостно вступают в солнечные врата социализма... Лев идет с зайцем, капиталист с рабочим...

В актовом зале спутались шеренги. Стриженные — радостно и испуганно — выстроились на паркетных плитках седьмого класса. Гул над спутанными шеренгами. Наставники мечутся среди чужих бушующих классов.

— Господа! Граждане! Тише! Дайте говорить!..

Семьянин тоскливо поднимает руку. Мягко, ватно:

— Многострадальной России послано еще одно тяжелое испытание (в тягучей паузе угасает гул)... Банда насильников разогнала Временное правительство... Еще так недавно мы, находящиеся под прощанием худшего правителя из дома Романовых (...чугунный, со страшными плечами великана! Неужели это твой потомок?), радовались освобождению России... И вот насильники без прошлого и будущего захватили государственную власть в нашей истерзанной родине... (Влажный блеск глаз, и вдруг белым голубем платок к лицу, к глазам.) Но, видит бог, этим недостойным людям не удастся свергнуть нашу страну в омут анархии и произвола. Не прой-

дет и двух недель, как они будут сметены волей народа, придет хозяин земли русской — Учредительное...

* * *

Отрывок из дневника Мпханла
Брусникова

...махнул рукой и пошел из зала. Не успел Семьянин дойти до двери, как раздались выстрелы, где-то далеко в городе. Мы стояли оторопелые. Плохо или хорошо? Кто в кого стреляет? Стреляли еще вчера, но почему сегодня, если власть захвачена?.. А может быть, нет? Значит, тогда Семьянин зря слезу проронил! И вдруг стало жалко, если власть еще не захватили. Интересно, какая будет анархия, о которой говорил Семьянин? Значит, тогда не будет ни старших, ни младших, ни начальников, ни подчиненных. Вот бы посмотреть!..

Семьянин ушел из зала. Мы стоим и не знаем, что делать: в классы, домой — куда? Учкомовцы наши не лучше нас; глазами хлопают, не знают, что делать. Вдруг входит Оскар Оскарович и говорит: — Прошу я вас в класс занимайся! Занятий будет в нормальный порядок.

Тут, словно над ухом, грохнула музыка за окнами на улице. Вдруг ко мне подлетает Телегин, бледный весь, и орет, точно я глухой:

— На улицу, Мишка! На улицу!

Потом кто-то кричит Антошке:

— Телегин, тебя зовут!

Антон бежит к двери. А там какие-то трое: двое в пальто, а третий в куртке. У каждого на плече

винтовка. В чем дело? Может быть, кого арестовывать пришли? Вспоминается Семьянин: «насильники».

Телегин их, видимо, знает, и они его. Один, в пальто с разорванным карманом, сует Антону кусок газеты. Телегин, вижу, отказывается, тянет за собой этого, с карманом.

Идут вдвоем в зал. Остальные двое у дверей — стоят и смеются. (Потом узнал: над Антошкой смеялись, что он не решился, сконфузился выступить сам.) Как засмеялись, я почему-то подумал, что Семьянин чего-то не понял или не то нам говорил: он плакал, а эти смеются!..

Ребята не расходятся, ждут, что будет. Тот, который в пальто с разорванным карманом (узнал потом от Телегина, что это Афонин с патронного завода), снял винтовку и передал ее Антону. Сам вспрыгнул на подоконник. Тут выскочил откуда-то Лоскутин.

— Гражданин, гражданин! Нельзя на подоконник. Это мрамор — треснет!.. Я вас прошу!

Афонин повернулся к нему лицом и говорит:

— Да уж как-нибудь... Я осторожно...

Сзади засмеялись. Афонин повернулся, зацепил полый пальто горшок с фикусом на окне. Горшок повалился набок. Афонин спрыгнул, поднял горшок, отодвинул его в сторону. Опять вспрыгнул. Обвел глазами весь зал и поднял руку:

— Товарищи-и! Победа! Временное правительство — правительство капиталистов и помещиков — свергнуто! Победа! (Тут он вытащил обрывок газеты.) Вот газета... Петроградский Совет... Товарищ Ленин сказал на Совете (обрывок этот остался

потом у Антона, я попросил его на день. Сейчас он передо мной, списываю, что читал Афонин):

— «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Какое значение имеет она, эта рабочая и крестьянская революция? Прежде всего значение этого переворота состоит в том, что у нас будет советское правительство — наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии... Угнетенные классы сами создают власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций...

...Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма. В России мы должны сейчас заняться постройкой пролетарского социалистического государства... Да здравствует всемирная социалистическая революция!»

Афонин прыгнул с мраморного подоконника и на лету крикнул: «Ура! На улицу!» Мы плохо поняли, но крикнули вслед «ура». Однако жидко. Кто-то свистнул, кто-то прокричал: «Долой! Довольно, слышали!..»

Тут вдруг, смотрю, Антон осмелел, передает Афонину его винтовку, а сам вскакивает на подоконник. Афонин ему улыбается, подбодряет:

— Давай, давай! Давно пора!..

Антошка собезьянничал и, как Афонин, поднял руку:

— Товарищи!..

5. Дела и люди

Из дневника Михаила Брусникова

9 ноября

Сегодня выбрали новый ученический комитет. От нашего шестого опять Кленовский и Лисенко. Кандидатами Гришин и я. (В Классической на учкоме и кандидаты присутствуют, а у нас почему-то нет!) Хотели в учком Телегина выбрать, но он уже четыре дня как уехал с отцом в Москву.

Пятый класс зачем-то выбрал Умялова. Не поймешь его! То голубую ленточку носил за Корнилова, смеялся над учкомовцами, то вдруг его выбирают! Не хотел бы, так небось не выбрали.

Председателем учкома выбран наш — Кленовский. Это здорово! Утерли нос седьмому классу! Хотя почему председатель должен быть обязательно из самого старшего класса?

11 ноября

Занятия идут вяло. Много пустых уроков. Семьянин ходит, но придет, спросит, задаст к следующему разу — вот и всё. Больше вызывает отвечать, чем объясняет. А если кто спросит, он машет рукой и говорит:

— После, сейчас некогда!

Когда это «после»? Может быть, после двух недель, когда должны будут погибнуть большевики, о чем Семьянин говорил?

По физике сегодня толстый, неповоротливый Костриченко показал нам «токи Тэсла». Интересно было: в темноте (в физическом кабинете) по трубке пролетели длинные фиолетовые искры. Вроде как

огненные макароны. И вдруг из темноты Костриченко басом:

— Вся власть Советам, а, говорят, хлеб в этом месяце уменьшат. И сахар...

Это с ним бывает—чего-нибудь неожиданно бухнет. Стал объяснять опыт, во время объяснения сел в темноте на электрическую лампочку (на стуле лежала). Лампочка лопнула, а Костриченко:

— Ну, вот и лампочка! Теперь и лампочку не достанешь, вся власть Советам!

Ему понравилось это выражение, и как что не ладится с приборамп или вообще — так он всегда теперь: «вся власть Советам».

Сегодня после пятого урока был закон божий. Теперь уже официально объявлено, что закон божий не обязателен — кто хочет.

Желтый батюшка пришел перед пятым уроком, перед Броницыным, и агитировал, чтобы все остались на его шестой урок. Батюшка говорил о том, что в истории народов было много революций и переворотов, но вера в господа бога никогда не угасала и учение божие всегда изучалось.

Пришел Броницын, и батюшка не докончил — ушел.

Василий Андреевич задал сегодня домашнее сочинение на тему «Черты крепостного права в «Капитанской дочке» Пушкина». Представить через две недели. Посидеть придется. Учимся еще все по тем же программам, но Броницын, на свой риск, произвел программную «революцию». Уже Пушкин! Он сократил «одним движением руки» Баратынского, Дельвига, Вяземского, Жуковского: разобрал вскользь, кое-что прочли, кое-что объяснил (Жуков-

ского больше, чем остальных) и «двинул русские полки» — к Пушкину.

Василий Андреевич обещает, что мы пройдем в шестом классе кроме Пушкина еще Гоголя, критика Белинского, Гончарова и Тургенева. А седьмой класс начнет с Толстого, Чехова и так далее. И даже, говорит, разберем тех значительных писателей, которые жили после Толстого и Чехова.

Сергей Феодор спросил:

— А тех, Василий Андреевич, что живут сейчас, мы будем проходить? Например, Максима Горького.

Броницын улыбнулся и ответил:

— Живых не проходят. Вернее, проходят... мимо! Ни одно средне-учебное заведение и даже университеты не разбирают живых писателей. И здесь и там проходят «Историю русской литературы». А какая же это история, если «он» еще живет! Это, конечно, чушь, но вы многого от меня хотите — не успеем...

На закон божий не знал — оставаться или нет? Хотелось скорее домой. Хотелось засесть за «Капитанскую дочку», пока желание есть. Кроме того, скоро в математико-астрономическом кружке (наконец-то!) доклад Гришина «Жизнь на Марсе». Доклад в связи с переворотом в Октябре откладывался. Гришин вывесил уже тезисы доклада. Я хочу выступить и возражать, так как я прочел, что есть новая теория, будто на Марсе не каналы, а трещины (вот Гришин опупеет!). Надо тоже подготовиться.

Но, с другой стороны, батюшка сам приходил просить, чтобы остались. Неудобно как-то: взрослый человек идет к нам, мальчишкам, просить. Однако

потом подумал, что, если останусь, значит, останусь не по искреннему желанию, а вроде как из жалости. А нужна ли она ему? В общем, пока решал, батюшка пришел (нарочно раньше пришел, еще перемена не совсем кончилась). Я собрал книжки и быстро выхожу. Батюшка: «Куда?» А я: «Сейчас, на минутку».

Ушел.

Неловко получилось, будто я удрал, как приготовишка! А по дороге рад был: я, кандидат в учком, и вдруг остался бы, как темный, пассивный...

19 ноября

Как Афонин тогда кричал: «Победа!» Теперь учком победил!

Последняя неделя прошла в борьбе учкома за:
1) представительство в педагогическом совете и
2) за комнату для учкома.

Учком боролся за равноправное представительство в педагогическом совете, а не так, чтобы учком приглашали на педагогический совет «для информации», да и то не всегда.

Педагоги, конечно, против.

Не все, но против. Даже мягкий Вырыпай (он теперь будет у нас читать тригонометрию) встретил на лестнице Лисенко, взял его за пряжку на кушаке и говорит:

— Я не понимаю... Ведь вы же ученики! Как вы можете решать дела с преподавателями? В мое время этого не было. Удивительно! Я двадцать пять лет преподаю математику, но ничего подобного не знаю!

Ну еще бы, «в его время»! Понятно! Костриченко вызвал отвечать по физике Тутеева и, когда ставил ему отметку (конечно, пять), то пробурчал:

— Хотя вы хорошо знаете, Тутеев, но сидеть вам рядом со мной в педагогическом совете рановато!

А Тутеев:

— Я не в ученическом комитете.

— Неважно. Ваши товарищи там. Пускай вся власть Советам, но не учком же власть? Я категорически против!..

Таково было отношение. И наверное, ничего бы не получилось из представительства, если бы не назвали из Отдела народного образования при губисполкоме — новое советское учреждение.

Комнату (вторая победа!) отвоевали сами. Дело в том, что учкому негде было собираться и вести дела, хранить бумаги, и вообще не было твердого места, куда учащийся мог прийти за советом или за помощью. Воевали только с Оскар Оскаровичем...

Совсем забыл! Директор у нас теперь Оскар Оскарович. Всеволод Корнилович уехал не то в Москву, не то в Самару. Говорят, перевели, а другие говорят, вообще бросил службу. Я думаю — бросил. Трудно ему с новыми порядками. Оскар Оскарович и то жмется, но работает.

Комната оказалась треугольной, на втором этаже, очень уютная. Здесь был раньше зубной кабинет, но так как врача давно не было, то комната пустовала. Итак, комната!

22 ноября

Доклад Гришина о Марсе опять отложили. Есть дела поважнее: учком хочет устроить горячие завтраки для учащихся, то есть чай, который вот уже два года в Реальном не существует. Устроили общее собрание об этом, а также об аккуратном посещении

уроков. Собрание назначили как раз в день заседания математико-астрономического кружка. Доклад не состоялся. А впрочем, Марс—тоже важно! Боюсь, как бы кто не узнал и не прочел, кроме меня, о том, что новая теория утверждает, что на Марсе не каналы, а трещины. Вот Гришин заморгает!

23 ноября

Сегодня Венька Плясов встретил меня в коридоре и сказал, что видел на улице Антошку Телегина. Значит, вернулся. Здорово! Антон, чудак, спросил Плясова, что проходят сейчас в классе... Видно, в Москве он опухел окончательно, раз забыл про Плясова, который остался на второй год в пятом классе. Откуда же Венька знает, что проходят в шестом! Скорее увидеть Антошку! Вдруг сейчас почувствовал, как я по нему соскучился!

24 ноября

Телегин почему-то еще не приходил в Реальное. Но сегодня было другое, которое заставило меня забыть об Антошке. Дело в том, что я домой пошел не по Коммерческой, а по Томилинской.

Я встретил В. Глупая прежняя, ребячья застенчивость. Надо смелее, просто и ясно — встретил Варю. Она шла по моей стороне. Увидел издали. И вот я, который не говорил с ней ни одного слова, который даже не знаком с ней, вдруг перетрусил. Вот сейчас она приблизится, будет рядом, и она поймет сразу все... Я чем-нибудь выдам себя.

Она шла в белой пушистой шапочке и в синей шубке с коричневым мехом. Я ее сразу не узнал, так как раньше она ходила в черной шубке и в черной шапочке. Бежать на другую сторону глупо и

поздно уже! И вдруг какая-то храбрость! Как бы назло самому себе, буду идти и прямо смотреть ей в глаза. «В упор, — твержу я себе, — в упор!»

И вот она! Иду и смотрю. Варя посмотрела на меня, а потом на книжки под мышкой. Поправила чуть-чуть и опять смотрит вперед. Наши глаза встретились, и, когда встретились, я вдруг почувствовал так хорошо-хорошо, будто она сказала, будто я услышал от нее что-то очень нежное и ласковое...

Глаза встретились и расстались. Я шел веселый, и вся улица к дому казалась веселой. Я шел, а перед глазами стояла белая шапочка, черные, смотрящие на меня глаза, нос, рот, розовые от мороза щеки...

Конечно, это глупость и фантазия, но, может быть, она заметила тогда с причастия в церкви или когда-нибудь потом, что я ее... да, да, люблю, люблю! Вот открыто и смело говорю! И может быть, она сама... Глупо, конечно. Ну, а вдруг!

На углу Киевской и Лермонтовской застряла на голых, без снега, булыжниках лошадь. Возчик бил лошадь, а публика шла мимо и не останавливалась. Я вдруг подошел и сказал: «Не бей лошадь!» Я думал, возчик сейчас будет меня ругать, а он и на самом деле перестал бить лошадь, и она (лошадь) вдруг сама натужилась и свезла воз с булыжника на снег. И поехали.

Мне стало еще радостнее и так хорошо-хорошо, — вот я доброе дело сделал. И тут подумал почему-то, что бог есть обязательно и что сомневаться я больше не буду. Это он сделал меня сегодня таким чистым, добрым...

Приближаясь к дому, совсем развеселился. Те-

перь, если захочу увидеть Варю, я могу идти домой не по Коммерческой, а по Томилинской, и, может быть, наши уроки так совпадут, что я ее опять встречу. И вдруг почувствовал, что бог тут ни при чем, что все это сделала Варя! Это из-за нее я сегодня такой веселый, чистый и хороший...

И вот пишу сейчас, а глаза ее на меня смотрят, будто говорят что-то... А может быть, это все только показалось!..

27 ноября

Телегин вернулся, догоняет ученье. Рассказал много интересного о Москве. В Москве некоторые дома исковыряны пулями и разрушены снарядами. Стреляли по-настоящему, прямо как на войне — из пушек.

Но это потом. Сегодня все говорят о «христианском коммунизме».

На большой перемене было летучее общее собрание для выбора товарищеского суда. А потом пришел Оскар Оскарович и сделал сообщение о дисциплине в Реальном, что надо посещать аккуратно уроки и так далее, попятно! Тут подошли на собрание некоторые преподаватели: Броницын, Вырыпай, Елифанов, Велецкий, Козлов, Бодэ, мадам Шевалье... Вдруг Елифанов выходит и говорит... (Давно-давно не слыхали его голоса! Как когда-то, в далеком и милом теперь третьем классе. И ряса фиолетовая на нем та же!) Итак, говорит:

— Я хочу воспользоваться этим собранием, чтобы сказать несколько слов. Новое учение — коммунизм, которое проповедуется сейчас, — не новое учение. Может быть, самым первым коммунистом был не кто иной, как наш с вами Иисус Христос. Это

именно он проповедовал делить все с ближним: «Не печись о земном, отдай дом твой, богатства твои бедным — и иди наг и бос, и ты узришь царство небесное». (Кажется, изречение я не переврал.) Иисус Христос говорил: «Если у тебя две рубашки, отдай одну ближнему твоему». Иисус Христос не любил богатых и изгонял торгашей из храма божьего... То же самое мы видим и у нас теперь: закрываются магазины, и мы делим свои рубашки (кто-то тут засмеялся, а Епифанов серьезен, как никогда!). Господь проповедовал такое царство на земле, когда не будет ни богатых, ни бедных, то есть то, к чему стремится учение о коммунизме.

Мы слушаем: зачем он говорит? К чему это? А желтый батюшка стоит и головой качает — согласен. Но мы поняли зачем. Епифанов так кончил:

— ...А если так, то христианский коммунизм ни в чем не расходится с тем коммунизмом, который проповедуют сейчас. А посему изучайте учение Иисуса Христа (ну конечно!) и ходите аккуратно на уроки закона божьего.

Тут пробил звонок конца перемены, и собрание сразу кончилось. Телегин, когда шли в класс, злился, что собрание неожиданно кончилось, а то бы он выступил против Епифанова. Я спросил:

— А что бы ты сказал?

А он отвечает:

— То бы сказал, что он, главное, заливает, потому, что тот коммунизм божий, а наш...

— А что наш?

— А наш вообще... не божий и не тот совсем, а другой, который, главное, на божий не похож, а, наоборот, очень резко отличается от божьего, потому что не имеет ничего общего с ним, а напротив...

— Брось! Мочалку жуешь! Хорошо, что не возражал Епифанову, — оскрамлился бы!

— Сам ты жуешь! Ясно: тот коммунизм для христиан, а наш, главное, для рабочих и крестьян.

— А если рабочие и крестьяне в бога веруют и вообще тоже христиане, — тогда что?

— Тогда, значит, они не настоящие рабочие и крестьяне. И пусть ждут епифановского коммунизма, но так как это, главное, фантазия и миф, то они разочаруются в нем и придут к нашему коммунизму... но христиане не могут к нему прийти, а следовательно, настоящие рабочие и крестьяне не должны быть христианами, иначе они...

— Ты мелешь вроде Кленовского, ничего не понятно!

— Я не виноват, если ты такая балда!

Чуть не поссорились. В классе обсуждали выступление Епифанова. Сергей Феодор загнул такую ахинею (хотел объяснить разницу), — даже Кленовский возмутился, что непонятно! Спорили Гришин с Тутеевым, Лисенко с Яшмаровым, потом Черных с Лисенко, потом Телегин с Сергеем Феодором и Пушаковым. Шумели до тех пор, пока не пришла мадам Шевалье. И после, во время урока французского, посылали друг другу записки, шептались, стучали в лоб, а потом о парту.

* * *

15 января

Сегодня пятый день после каникул. Только обрадовались, что снова ученье, и опять нет. После рождества выяснилось: нет дров в Реальном. Последнюю неделю каникул училище совсем не топили. Оскар Оскарович хлопотал, учком хлопотал — бегал

в Отдел народного образования, но дров не достали. Пришлось заниматься в холоде. В классе перчатки надевали. Учком предложил не раздеваться и в шинелях сидеть в классе. Оскар Оскарович возмутился и сказал:

— Я не позволяйт этого! У нас не базар и не ярмарк, чтоп толкаться в шубах!.. У нас ушербное заведение. В шубах нельзя занимайся, в шубах можно спать.

Но учком настоял, и стали ходить в класс в шинелях и шапках. И ничего действительно не получилось: в перчатках не писали, а калякали, вроде приготовишек, с помарками. Учителя сидели на кафедре, не двигаясь и запустив руки в рукава шубы, вроде как извозчики на углу. Сидеть на одном месте было холодно, и стучали потихоньку нога об ногу. Вообще было не до урока, а только как бы согреться.

Учкомовские собрания, секции при культурной комиссии, товарищеский суд — хотя уже после каникул прошло пять дней, — ни разу не собирались.

К этому еще — застыл водопровод. Школа промерзла окончательно. На стенах был иней. Начали думать, что делать: распустить — значит потом догонять учение, ломать год. И на сколько распустить? Заниматься тоже нельзя: одно название, что учимся. Но вчера все решилось.

Вчера, перед учением, нашли в учительской лопнувший (видимо, ночью) графин с водой. Кто-то утащил его, то есть не графин, а кусок льда в форме графина. И этот ледяной «графин» перетаскивали из класса в класс — а он даже не таял! Когда на него смотрели, становилось еще холоднее. И «графин» подействовал! После уроков было летучее

собрание — как быть дальше. Звонили в Отдел народного образования. А сегодня, по распоряжению ОНО, Реальное закрыто до дров...

9 февраля (22-е нов. стиля)

Реальное все еще закрыто. Сижу дома, занимаюсь, читаю и философствую. Сейчас меня занимает отец. После осенней революции он как-то сжался и был молчалив. Мне ни в чем не мешал, не агитировал ни «за», ни «против». Разговоры с мамой были только о том, что нет дров, нет хлеба, дешевеют деньги.

Того нет, этого не хватает.

Но однажды я слышал его разговор с Александром Ивановичем, и мне стало кое-что ясно. Александр Иванович — военный врач — был у нас в гостях. Он сказал:

— Мне все равно, кого лечить — царских солдат или большевистских красногвардейцев, и те и другие — люди, крестьяне и рабочие. Одних царь одурчил, других — коммунисты. Но ведь они же живые люди! И красногвардеец, когда я его оперирую, орет так же, как орал солдат, и хотя я для красногвардейца царский офицер и вообще буржуазия, но та же, что и у прежнего солдата, мольба в глазах, словно: «Поосторожнее! Не погуби меня! Я жить хочу!»

Отец тогда ответил:

— Хирургия — это не то что банк! Хирургическая операция возможна, когда есть больной, банковская же операция возможна, когда есть деньги. Но больные есть, а денег у нас нету! Ведь эти совзнаки — не деньги. Зажал в ладони тысячу, через час открыл ладонь, а там уже не тысяча, а девятьсот

девяносто два рубля с копейками. Нет денег, нет банков, нет сейфов, нет капитала, нет торговли. Спрашивается, к чему же нужен я — бухгалтер Средне-Азиатского банка, экономист с высшим образованием??

После этого разговора прошло порядочное время. Я как-то отделился от семьи. Только обедал и спал, — вся жизнь в Реальном. Утром учение, вечером — заседания, кружки, хлопоты. А если не то и не другое — просто так околачивался в учкоме. И не я один! Весело было. Светло, уютно, ребята, разговор (эх, проклятые дрова!). Только теперь — и стыдно сказать, не сам, а поневоле — больше обращаю внимания на дом, на родных.

И я бы не вспомнил о том разговоре с Александром Ивановичем, если бы не вчера. Вчера с работы пришел отец и сказал маме:

— Сегодня прислали они мне приглашение работать в финансово-хозяйственном отделе при губисполкоме. Был у них. Должность крупная, губернского размаха. Двойной паек, жалованье, конечно, совзнаками, но порядочно. Значит, я им нужен (тут отец поднял палец и улыбнулся), я — бухгалтер-экономист — нужен! Ты понимаешь?..

Мама ответила:

— Если в пайке будут давать сахар, то проси рафинад. Мы тогда песок побережем, — может быть, варенье...

Папа махнул на маму рукой и... подошел ко мне.

— Ты понимаешь, я нужен! Понимаешь ли ты, как дорого человеку то, что он не лишний, не черепок, не стекляшка, а имеющий свое, по своим способностям и знаниям, место в жизни!

Я ответил, что понял, и сказал (вспомнил тот разговор с Александром Ивановичем):

— Хотя при коммунизме, к которому мы идем, денег не будет, но хозяйство и промышленность всегда будут, и, наверное, всегда будут нужны экономисты, бухгалтеры, инженеры. При коммунизме, вместо денег, будет учет труда. Человек проработал, скажем, три часа, и он получает трудовую карточку, в которой будет это отмечено, и за свои три часа он может бесплатно получить все, что ему нужно, — и пищу, и одежду, и...

Отец и на меня махнул рукой:

— Начитался всякой чепухи!

И ушел к себе в кабинет.

Я пошел к себе. Я нарисовал для будущего журнала рисунки и заставки. Выписал, какие книги взять в библиотеке. Потом решил пойти к Телегину. Не успел надеть фуражку, вдруг пришел ко мне... отец (это редко случается).

Он сказал прямо с порога:

— Чепуха! Твои трудовые карточки с часами работы — это те же деньги! Если я проработал не три часа, а четыре, пять, — я получу за это всего больше — и пищи, и одежды, и прочего... Это все равно как если бы я получал не карточки, а жалование деньгами.

Я ответил:

— Зачем человеку получать больше пищи, если он не съест, зачем также одежды больше? Ведь он сразу две пары брюк носить не будет!

Я вижу, что отец доволен, что я серьезно, как «взрослый», отвечаю, но злится, что возражаю ему.

Отец перебил меня:

— Прекрасно! Но коммунистический курьер, уборщица будут получать столько же, сколько и коммунистический бухгалтер! Если каждый из них проработал три часа, значит, каждый на три часа, как на три рубля, получит земных благ... Тогда зачем учиться, кончать университеты? Сплошная чушь! Бессмыслица!.. Я говорю, что ты чепухи начитался и к тому же, видимо, не дочитал!

Отец опять ушел к себе. И хорошо, что ушел, потому что я действительно «не дочитал», и до сих пор не знаю, как бы я ответил отцу. Думал, буду у Антона — заведу разговор на эту тему и между прочим спрошу у него то, о чем спросил у меня отец. Но Телегина не застал дома: он пошел на каток.

Сегодня сам придумал ответ отцу — но лучше, если бы он меня пока не спрашивал.

4 марта (19 фев. ст. стиля)

Не везет! Вчера нас распустили по случаю эпидемии сыпного тифа в городе. Теперь дрова есть, но вот опять остановка!

Мы все были против. Самое интересное время теперь заниматься, и вот тиф — распускают! И за чем? Театры и кинематографы не закрыты, а там тьма народу бывает — вот где зараза передается. А учебное заведение почему-то закрывают. Неумно! И все это Отдел народного образования мудрит! Ни педагогический совет, ни учком не могли ничего сделать. Приказали — и точка. А дров сейчас сколько в Реальном! Горы! Надо бы надоумить учком переговорить с Оскар Оскаровичем, чтобы дров — пока тиф и пока мы распущены — не жгли зря, а то тиф кончится — дров опять, как после рождества, не бу-

дет и тогда снова «На колу висит мочала — начинай сначала».

Чтобы не ломать год, Наробраз (это Отдел народного образования) распорядился задать на дом уроков на три месяца вперед, то есть до конца курса, но предупредили, что это на всякий случай, так как тиф, наверно, кончится раньше.

Теперь, значит, каждый сам себе Реальное училище! Теперь можно не вставать рано, не спешить и даже не заниматься каждый день. Но чудно! Еще год назад это казалось бы райским житьем, а сейчас, как подумаешь, что не идти в Реальное, — скупка отчаянная! Думали издавать новый школьный журнал; должно было быть отчетное собрание учкома и разбор двух интересных дел в товарищеском суде; читальню с чаями и завтраками хотели открыть; доклад Гришина о Марсе; выдали из Наробраза 4 пары боксерских перчаток для спортивного кружка. И все это мимо носа проехало! Тиф! Тиф! Тиф! А кинематографы не закрыты. Какая глупость!..

6. Девчонки

Вестибюль — пополам: справа оставляют одежду бывшие реалисты, слева — бывшие гимназистки. Бравый усатый Филимон перешел вправо, бакенбардный Елисей — влево.

И стал Елисей — «девчонкиным». Кроме географических карт, скелетов, классного мела в его ведении теперь — ряды невиданных мягких костюмчиков, шерстяных жакетов, беспуговичных пальто... Фуражка реалиста — это определено: синне-зеленая,

окантованная желтым, с лаковым козырьком. У Елисея неопределенность: шапочки, шляпки, береты — вишневые, розовые, синие, черные, коричневые, зеленые...

Главное, легкое, невесомое, игрушечное — и пальто, и шапочка, и галоши.

Да, и галоши. У Филिमона точно: четвертый класс — седьмой номер галош; пятый — восьмой; шестой — девятый; седьмой — десятый. И даже отдельно наперечет — Филимон помнит, у кого — громоздкие и внушительные: одиннадцатый и двенадцатый номер. Но и седьмой и двенадцатый — это отчетливое, весомое, с широким грязным следом на белых кафелях вестибюля.

У Елисея же — легкие, узкие резиновые лодочки или выгнутые, как маленькие копытца, с высокими каблучками. И в самую отчаянную грязь на кафелях незаметные следы-пятнышки. (При входе лежит войлок — седьмой и двенадцатый, по-мужски, мимо, через войлок, не останавливаясь). А выгнутые копытца оставляют на кафелях просто какие-то точки, будто вернулась с мокрой улицы осторожная такса.

У «девчонкиного» Елисея — неопределенность. Так начался 1918/19 учебный год.

* * *

Где-то там, в кварталах городских улиц, тайно, замкнувшись, жили женские гимназии.

...На вечерних тротуарах Киевской звонкие каблучки. На вечерних тротуарах пугливые стайки, спешащие, взвизгивающие. Стайки дружно подлетали к огненному стеклу витрин и, тараторя, упива-

лись всем: платьями, шляпами, жакетами, перчатками, зонтиками. И зонтиками: и теми, что легкие и нежные, как летящие семена одуванчиков, и теми тяжелыми старушечьими зонтиками, которыми можно отогнать злого пса от черных, древних юбок.

Стайки взлетали с витрины и пропадали в вечере.

...Но теперь наступило странное, удивительное время. Стайки эти, видимые ранее издали, сейчас — в Реальном училище: в вестибюле, в коридоре, за партами. Между серых рубашек бывших реалистов — коричневые платья, косы, прически с первыми шпильками.

Рубашечные занимают левые ряды парт, платья — правые. В середине — смесь.

У серых — отчаянная серьезность и строгость. Но целы все пуговицы, жестко, до тесноты, стянут кушак, приглажены волосы.

У коричневых — равнодушие и умная озабоченность. Головы прочь в сторону — «Не думайте, пожалуйста...».

Вырыпаев над журналом шевелит, жует губами. И вдруг громко, словно поражаясь:

— Шувалова Надежда!

От стен отскакивает удивленное эхо:

...ва Надежда!

Впервые в классе Реального училища:

...ва Надежда!..

В перемену реалисты быстро, хлопотливо снуют вдоль стен; гимназистки стайками движутся по коридору, равнодушные, будто и нет никого, кроме них, будто гимназия женская.

Только у аквариума на одну и ту же рыбу смотрят вместе. Глупая молчаливая рыба соединяет и

серое и коричневое. Серые могли бы не смотреть: рыбы те же, перевиленные, но стоят реалисты около аквариума.

У Умялова началось с аквариума. У него великодушная прическа: тонкая белая стрижка от середины лба идет назад, вправо и влево — лаково-блестящие волосы. Бачки у висков четки, как бы вырезаны из черного картона.

Рослый Умялов стоит наклонив голову. Правая нога в пепельной гетре становится то на носок, то на каблук — кокетничает.

— Почему вы думаете, что это сом?

— Ну, еще бы, — взлетают кудряшки, и губы в трубочку, радостно. — Ведь у него же усы-ы!..

— А если бы у меня были усы, — правая нога пошевелила носком, — значит, я тоже сом?!

Вспугнутая смехом рыба подбирает усы и ползет по песочному дну.

— Какой вы смешливый, ужасно! К вам бы усы не пошли... А это что?

— Это... рыба... Значит, усы плохо?

— Не плохо, а не пошли бы... Конечно, рыба, но какая? Смотрите, четыре хвоста!

— Это вуалехвост... К вам идет этот кружевной воротничок... Вы в какой группе, кто у вас по истории?

— Вы всем это говорите? — Пальцы неприметно по воротнику. — Смотрите, опять сом!..

— Нет, только вам... Значит, — приближаясь к коричневому, к кружевному, — вы окончательно решили, что это сом?!

— Ну конечно, — близко-близко к стеклу аквариума. — У него же усы-ы!!

Началось с аквариума...

7. „3-я Единая“

Из дневника Михаила Брусникова

2 сентября (20 авг. нов. стиля)

Начался 1918/19 учебный год. Новый и последний год. И какой год! Такого еще не было ни у кого: будем теперь всегда учиться вместе с... девочками!

Но для нас это последний год. Уже большие. Мне скоро восемнадцать лет, а Кленовский говорит, что уже брился летом, но, наверное, врет, так как сейчас ничего не заметно. Телегин тоже говорит (когда я ему сказал про Кленовского), что отец собирается ему подарить старую бритву. Что он с ней будет делать? Карандаши чинить! Но все же мы самые старшие — седьмой класс. Впрочем, это по-старому, теперь нет седьмого класса, а есть 4-я группа. И Реального училища нет, а есть «3-я Единая Советская Трудовая Школа II степени». Очень длинное название. Это плохо. Раньше коротко «Реальное» или даже «Реалка». Но не в этом дело. Новостей, новостей сколько!

В прошлом году поговаривали, что нас сольют с Елизаветинской женской гимназией. Мы не верили, хотя ждали, что получится. Интересно! Но конец прошлого года почти что не учились: то дров нет, то тиф. Месяц занимались, а там уж летние каникулы. Так и не дождались женской гимназии.

Теперь школа единая, то есть для обоого пола, а главное, теперь нет ни реальных, ни гимназий, ни церковноприходских, ни городских училищ — все называются школой («единой»). Но, конечно, к нам в Реальное, то есть в 3-ю школу, из церковнопри-

ходского не приняли. А сделали так: начиная от четвертого класса и выше — это школа II ступени, а от четвертого класса и ниже — это школа I ступени. В эту школу и попали городские, приходские и прочие. Когда они ее кончат, могут перебраться в школу II ступени. Никому не обидно. Наша 3-я школа образовалась из четырех старших классов бывшего Реального училища и этих же классов Елизаветинской женской гимназии.

И вот гимназистки! Это раньше. Теперь «девочки» или «девчонки». Их так много, что всех сразу не увидишь, и каждый день все новых встречаешь в коридорах.

Вообще как-то чудно, смешно, странно и приятно, что они здесь. В перемены все ходят отдельно: «мальчики» (хороши «мальчики», если бритва!) — отдельно, а «девочки» (хороши тоже и «девочки» — у некоторых из бывших семиклассниц прически со шпильками, пышные и вообще вид такой!..) — тоже отдельно. Будто Реальное само по себе, а Елизаветинская сама по себе. Как вода с маслом не смешивается. Но это, конечно, от робости: стесняются. Что дальше будет — неизвестно. На уроках все до одного присутствуют. Еще бы! Такие дни и пропускать!..

Кроме этого новости по курсу.

Во-первых, новые программы. С шестого класса (то есть с 3-й группы) будут два уклона — гуманитарный и технический. «Гуманисты» будут налегать на историю, на общественные формы, на русскую литературу, психологию и прочее. А «техники» — на физику, математику, химию, черчение и так далее. Новые программы мы еще сами не читали, но сразу стало известно, что о законе

божьем ни в гуманитарном, ни в техническом укло-
нах ничего нет. Ни обязательно, ни для желаю-
щих — никак нет. Прощай, Епифанов и желтый
батюшка.

И еще — просто никто не верил! — баллы отме-
ваются! Ни пятерок, ни колов больше нет. Будут
писать так: «неудовлетворительно», «удовлетвори-
тельно» и «весьма удовлетворительно». Балльники —
этот бич божий — отменяются. Этому совсем не по-
верили. Четвероклассники (1-я группа) даже ходи-
ли переспрашивать в учительскую, а потом танце-
вали в классе, как дикие эфиопы с Новой Зеландии.
Еще бы! Балльников нет! Теперь не надо
прятать его с двойками и колами под матрац; те-
перь не надо, дрожа и волнуясь, показывать отцу,
матери... Конец! Мы и то рады были. Что же,
интересно, делалось у наших бывших первоклас-
сников?!

Но неясно вот что: «единая» — понятно, «совет-
ская» — понятно, но непонятно «трудовая». То ли
в школах будут учиться только дети трудящихся, то
ли из всех учащихся будут делать трудящихся! Не-
понятно.

4 сентября (22 авг. ст. стиля)

Какой день!!

Случилось так: я на перемене вышел из комнаты
учкома (второй этаж) и стал вывешивать объявле-
ние о спортивном кружке. Кнопку одну приколот,
а другая упала и покатилась. Я бросился за ней,
нагнулся и кого-то слегка толкнул. Я говорю «про-
стите», выпрямляюсь, а за моей спиной кто-то гово-
рит «пожалуйста». Я оборачиваюсь, смотрю, это...
Варя! Идет в класс. Она не оглянулась.

Варя здесь!..

Вот новости!.. Как это я раньше ее не увидел! Я почему-то думал, что она была в 1-й женской гимназии, а не в Елизаветинской. (В 1-й тоже коричневые платья, но темнее).

Узнал: она в 3-й группе «А», на класс младше меня. 3-я группа «А» во втором этаже. Может быть, поэтому я не заметил ее раньше...

Через перемену я опять ходил вниз в учком, смотрел, хорошо ли висит объявление, но Варю не видел...

Варя здесь!!

7 сентября (нов. стиля)

Еще новости! Прямо некогда писать дневник. Спортивный кружок, организация общешкольного журнала, ближайшие перевыборы учкома (теперь уж будет не учком, а ученический совет). Каждый день что-нибудь! Сегодня два события:

Во-первых, Антошка нашел своего приятеля Скосарева во 2-й группе «А». Учился он в Городском училище, за лето подготовился и выдержал экзамен в пятый класс, то есть во 2-ю группу. Таких из Городского он только один у нас.

Антон очень обрадовался Скосареву. Я сказал Телегину:

— Вот теперь не будет ни «говядины», ни «терптиков», ни «городских кухарок», ни «городового убил», ни «купцов», ни «маменькиных сынков» — все одинаковы, все в одной школе.

А он:

— Дразнить, может, не будут, но купцы и дворяне, главное, останутся купцами и дворянами, а городские — городскими до тех пор, пока мы не

придем в царство социализма, в котором не будет классов.

Тут я его подрезал:

— Ты говоришь «царство социализма». Какой же это социализм, если «царство»? «Царство» от слова «царь».

Я предложил лучше назвать «страна социализма», «край социализма», «долина социализма». Он согласился.

Второе событие — важное. Директоров теперь не будет — будут инспектора, они же заведующие школой. Внимание! Инспектором «3-й Единой Советской Трудовой Школы II ступени» назначен... Броницын Василий Андреевич!

Здорово!

Говорят, предлагали это место Оскар Оскаровичу, но он, по старости, отказался. Он будет в школе только преподавать немецкий язык. После уроков, по этому случаю, было общее собрание. После представителя из Наробраза говорил Броницын. Он боком вышел, насупился и, глядя куда-то вкось, угрюмо сказал:

— Я теперь ваш инспектор! Вы теперь в моей власти, что хочу с вами, то и делаю.

Девочки из 1-й группы замерли от испуга, а когда Василий Андреевич все же улыбнулся, они успокоились.

Дальше Броницын говорил о воспитательном значении школы, о том, какая была школа и какая будет. О том, что школа не должна быть оторванной от жизни, от профессии и прочее. В конце упомянул, что уроки на дом будут отменены (тут младшие загалдели от радости) и что все будет проходить в классе. И еще раз повторил о баллах и

балльниках. Ему начали хлопать, и кто-то крикнул: «Качать!» Из 3-й группы выскочили вперед, по старой привычке к беспорядкам, Венька Плясов и младшие. Мне очень хотелось броситься туда же, и я видел, нашим ребятам тоже, но стеснялись девочек. Кроме того, могли подумать, что нам, семиклассникам, страшны были бы теперь балльники.

Но Василий Андреевич отстранил желающих качать и сказал:

— Если вы все думаете, что теперь можно лентяйничать, то вы ошибаетесь. Уроков на дом, баллов, балльников не будет. Но учиться вы будете отчаянно! Вы еще заплачете у меня!

Но Броницын опять стали хлопать. Собрание скоро кончилось.

По-моему, с Василием Андреевичем в школе хорошо будет. В нем есть и твердость, решительность, и добродушие. Кроме того, он к учащимся как-то ближе всех.

После собрания разговорились с Кленовским и Телегиным. Кленовский сказал:

— Зря только Броницын сказал: «заплачете у меня». При чем здесь «у меня»? Надо, определенно, понимать, что Броницын хочет быть единодержавным монархом в школе. Определенно, замашки старого директора Всеволода Корниловича! А учком? А педагогический совет?

Я сказал Кленовскому:

— У тебя, Борька, большое самолюбие. Помилуйте! О Кленовском — председателе учкома — ничего не сказал Броницын!

А Телегин глубокомысленно:

— Насчет монарха и самолюбия — это чепуха! А если он возьмет власть в школе, то пусть берет, —

значит, крепкий. Власть вообще, главное, не дают на блюде, а берут! Будет ученический совет сильным, и он возьмет ту власть, какая ему принадлежит.

8 сентября (нов. стиля)

Вари нет! С того дня, как я поднимал кнопку. Что такое? Больна? Уехала? Спускаюсь каждую перемену в учком, прохожу мимо 3-й группы «А». Жду следующей перемены: а вдруг опоздала, ко второму уроку пришла, к третьему... Но нет.

Что с ней? Самое простое спросить, например, Веньку Плясова (он в этой же группе), он может узнать у ее подруг... Но, конечно, я не спрошу.

14 сентября (нов. ст.)

Мы все обязаны Умялову. И даже мы — семи-классники. Было так: елизаветинские существовали отдельно, реалисты отдельно. И в классах, и в коридоре, и в зале. Мы косились на девочек, девочки косились на нас. По глазам было видно, что всем хочется сблизиться, подружиться или хотя бы не стесняться друг друга. Даже те, которые были в одном классе, не были знакомы, не здоровались.

И вот Умялов, как передают, сперва познакомился с одной из 3-й группы «А» (сам он в 3-й группе «Б»). Та познакомила его с подругой. Умялов познакомил нашего Яшмарова с ними обоими. Те привели еще своих подруг, а Яшмаров — Тутеева, Черных. Черных привел Лисенко, а Лисенко на большой перемене, когда мы выходили из комнаты учкома, познакомил Грипина, Кленовского, Телегина, Феодора и меня с некоторыми из 3-й «А» и из 4-й «Б». У них оказались подруги в нашей 4-й «А»

группе. И смешно получилось! Нас знакомили с нашими же одноклассниками их подруги из параллельной группы.

Круг знакомства стал увеличиваться. Скоро почти вся школа была друг с другом знакома. Конечно, не помнили всех имен и фамилий, забыли, кто в какой группе, но лед был сломан, и мы не считали друг друга чужими, не дичились.

Так слились елизаветинские с Реальным. И все это Умялов!

Только одного он не сделал... Но ее до сих пор нет. Теперь, казалось бы, легче всего узнать от ее подруг (я познакомился с ее подругой, очень славной, Галей Толмачевой). Но как спросить? Все сразу станет ясным.

Вот закрываю глаза, и выплывает далекое прошлое... Страстная неделя, в церкви вечерние сумерки... Перед иконами бледно горят свечи... Вправо профиль Вари... И откуда-то... «Господи, владыко живота моего...»

Как это все далеко, дорого и смешно. Смешна та обстановка. Чего стоит одна «исповедь»! Рассказывание постороннему человеку о каких-то диких «грехах»! Потом пыльная епитрахиль на голову и «отпущение грехов»!

Но когда вспоминаю о Вале, выплывает невольно епитрахиль, и причастие, и вино для запивания... Где больше дают «запивать» — в Антошкиной церкви или в моей?.. И тогда это не было смешным — все было в порядке вещей. Детство!

Куда же делась Варя? Что с ней? Уехала? Больна? Сколько прошло времени после той страстной недели, а мы всё так же далеки и неизвестны друг другу... Когда, по почину Умялова, настала эпиде-

мья знакомств, было не страшно: «Здравствуйте!» -- «Здравствуйте!» Смотришь, уже что-то говоришь, обоим весело... Но попробуй вот так подойти к Варел! И не подойдешь! Что-то связывает по рукам и ногам...

18 сентября

Все исчезло — осталась одна только агитация. 23 сентября выборы в первый ученический совет. Выборы будут не по группам, а по спискам, но в списке есть представители каждой группы. Вокруг списков идет бешеная агитация, напоминающая агитацию перед Учредительным собранием.

Списков пять, но выделяются два списка: список № 2, «премьером» которого выставлен Кленовский, туда входят от наших — Гришин, Лисенко, Телегин, Брусников, Шувалова, Саламатова и другие. И второй список — № 3, «премьером» в котором (кто бы мог подумать!) Павел Умялов. В этот же список попал Плясов, наш Черных, Аркович, Яшмаров и масса девчонок.

Характеристика списков такая:

Список Кленовского (№ 2). Публика в нем подобралась, надо прямо сказать, деловая, крепкая, уже закалившаяся в учкомовских боях (не все, конечно, Гришин и я — меньше всех). Представители от классов выбраны тоже надежные, и, поскольку можно, женская часть проверена со слов подруг. Одно плохо, что тут много «семиклассников», то есть 4-й группы. Это может провалить список.

Список Умялова (№ 3). Хотя и считается вторым «главным» списком, но провал его обеспе-

чен. Во-первых, сам Умялов — личность довольно неопределенная: демагог, крикун, с отчаянным самолюбием. Плясов — хороший парень и товарищ... но в драке, где-нибудь на лестнице или по выпивке. Черных известен среди реалистов как маменькин сынок...

Список Тютеева (№ 4). Этот список благо- нравных, аккуратных учеников и учениц. Удив- ляюсь, как нашего зубрилу-мученика Жучкова туда не вставили. Вот «премьер» для такого списка!

Список Пушакова (№ 1). Сам Пушakov — сын мастера с Оружейного завода, но он ярый ме- щанин: тянется к верхам. Все время, пока он с нами учился, он тянулся за Яшмаровым, подражая ему, льстил ему. Пушakov вставил в свой список Скоса- рева (это тот, кто поступил из Городского училища, телегинский приятель) и назвал свой список «пролетарским». А весь «пролетариат» в этом списке, если строго смотреть, — один Скосарев! И девчонки в список попали по выбору Пушакова. Самые красивые — с его точки зрения, конечно! И не девчонки, а «барышни». Телегин хочет пого- ворить со Скосаревым — зачем он в эту компанию влез.

Есть еще список № 5. Но это какой-то захуда- лый...

А пока идет бешеная агитация. Пишутся от руки и на гектографе летучки, вывешиваются по классам, по коридорам (прямо как Учредительное собрание!). По классам ходят «агитаторы». Причем не успеет один кончить — приходит другой, от другого списка. Умора! Вроде ходячих граммофонов!

Все дела отложены. Отложены хлопоты о журна-

ле. Надо было покупать шапирограф, мечтали даже о ротаторе — но куда там!

Гришин до сих пор (прошел чуть не год!) не может прочесть доклад о Марсе. Об этом уже знают и девочки. Когда упоминают о Гришине, они так и спрашивают: «Это тот, который о Марсе?» И зовут его «Марсианин». Гришин какой-то меланхолик, мечтатель: доклад переносят, а он ничего, не сердится.

21 сентября

Два домашних события, о которых надо записать.

На днях отца по службе (фин.-хоз. отдел губисполкома) назначили в рабоче-крестьянскую инспекцию для произведения ревизии в продбазе города. Дело было запутанное, и отца командировали туда как специалиста. Заведующим продбазой оказался Гусельников, отчасти знакомый отца, но хороший приятель Александра Ивановича (военного врача).

Вчера Гусельникова замели под суд. Сегодня вечером, после чая, был у нас Александр Иванович. Александр Иванович говорил осторожно, будто он пришел не к другу, а к опасному человеку и будто его, Александра Ивановича, вот-вот сейчас в чем-то тоже уличат и поймают.

Я ушел из столовой к себе в комнату. Голоса повышались и понижались. Отец говорил громче, Александр Иванович — тише. Вдруг смолкли. Потом пошли в переднюю. Александр Иванович о чем-то говорил опять. Отец громко сказал:

— Ну и пусть!.. Как вам угодно! Это мой долг. Я покрывать мошенников не намерен и впредь!..

После ухода Александра Ивановича отец долго ходил по комнате, присаживался и опять ходил. Мне захотелось пойти сейчас же к отцу, что-то сказать ему, словно поблагодарить, пожать руку... Но не пошел... Отвык, вырос... Вдруг заметил в зеркале, что у восемнадцатилетнего болвана мокрые глаза... Папа!..

23 сентября, утром

Сегодня будут выборы ученического совета.

Прошлый раз я не записал другого события.

Получил из Минска письмо от Аси... Она уехала на родину в Минск больше года назад, и до сих пор — молчание. Пишет, что письмо мое из Москвы (после поездки моей и Телегина в Херсон) получила за несколько дней до своего отъезда и не успела ответить. Пишет, что учится в женской гимназии и что скоро переходит на совместное с ребятами обучение (какая Америка!). Пишет, что вспоминает о нас и, в частности, обо мне. За «падеспань» на меня не сердится (ну, вот и хорошо!). Просит написать про нашу жизнь и извиняется за молчание...

Прочел письмо. Что-то приятное, далекое... Дорого, как каждый день уходящего детства. Но... не трогает! И вспоминаю, что у меня было раздвоение: не вижу Асю — скучаю, вижу — думаю о Варе...

Как хорошо, свободно, легко — одна Варя! Смешно: «одна Варя!» Мы не знаем друг друга, и хочет ли она знать меня! И где она? Что с ней?

Мчусь в Реалку (привычка!). Мчусь в «3-ю Единую и т. д. Школу». Чей список победит?!

23 сентября, вечером

Были выборы...

Повестка короткая: 1) отчет старого учкома и 2) выборы ученического совета.

Первая схватка произошла из-за председателя собрания. Борис Кленовский открыл собрание и просил выбрать председателя. Каждому списку важно, чтобы председатель был из «своих». Мы выдвинули кандидатуру Телегина. «Умяловцы» — Черных, «тутеевцы» — самого Тутеева и так далее.

Кленовский спросил, нет ли отвода кандидатам. Тут неожиданно встает Черных и говорит, что он снимает свою кандидатуру. У «умяловцев» — паника! Умялов набрасывается на Черных, а тот говорит, что вообще снимает себя из списка № 3. Умялов шипит на него: «Свинство!», «Измена!» и прочее. Но нам на руку! Противник мечется и на скорую руку выставляет в председатели кандидатуру... Плясова.

Перед голосованием девчонки просят показать кандидатов — не знают их. Кандидаты встают. Телегин мрачно и словно кукла встает, смотрит на стену и быстро садится.

— Покажите Телегина! — кричат.

Кленовский просит Телегина еще раз встать. Тот опять мрачно встает и смотрит на стену. Я вижу, как у него дергаются губы от смеха. Всех остальных также показывают собранию. Кроме Плясова. О Плясове почти все кричат: «Знаем! Знаем!» Мелькает мысль: если Плясова знают, его выберут. Это правило всяких выборов.

Но... Или надоело собранию возиться с председателями, или Антон произвел на всех «неотразимое» впечатление, но выбрали его. По нашему «списку»

и по нашим сторонникам бегут радостные улыбки: наш! наш! наш!!

Секретарем выбрали Плясова. Венька пошел на астраду, раскачиваясь на длинных ногах. Взял бумагу и сразу чего-то глубокомысленно застрочил. Телегин сел как монумент, уставился поверх голов на противоположную стену. Я понял: он боится смотреть на девчонок, а потому, для храбрости, смотрит на стену. Телегин позвонил в колокольчик и встал. Сначала спросил, не глядя на собрание, будут ли возражения по повестке, а потом:

— Слово по первому пункту повестки предоставляется товарищу Кленовскому.

Кленовский стал отчитываться за работу старого учкома. Что сделано, что не сделано, что надо сделать. Кленовский временами подпускал такие свои «принципиальные» загибы, что собрание кричало: «Короче! Яснее!»

После отчета были вопросы, потом прения. «Премьеры» всех списков считали долгом выступить и поругать старый учком. Понимай: «Если пройдет наш список, этого никогда не будет».

Ругать, конечно, следовало учком, но, если иметь в виду наше неученье, дрова, тиф, упрёки в слабой деятельности учкома не так уж справедливы.

Как и надо было ожидать, на учком обрушились «умяловцы». Когда вышел сам «премьер», раздались аплодисменты. Я заметил, что больше всего хлопали девчонки. Его одноклассница Ольга Бабанова сама хлопала и уговаривала подруг: «Хлопайте! Хлопайте!» Телегин позвонил и остановил слово Умялова. Когда наступила тишина, Антон, глядя на хлопающих девочек, сказал:

— Здесь не цирк — прошу прекратить! Продолжайте, товарищ Умялов.

Умялов долго говорил о недостатках в работе учкома, потом начал развивать планы на будущее: о библиотеке, о кружках, о журнале, о представительстве в педагогическом совете и прочее. Умялов говорил и, видно, сам был доволен тем, что говорил. Делал задумчивые глаза, смотрел то поверх собрания, то на свои серые гетры. Чувствовалось, что это нарочно — и для «списка» и для девочек вообще.

Елена Прокопович сказала сзади меня своей соседке:

— У него брови красивые, но зачем он так гладко причесывается, будто из воды вылез!

Соседка ответила:

— Да, он мне тоже нравится...

Прокопович изумленно спросила:

— Почему это «тоже»?

И обе тихо засмеялись...

*24 сентября, утром
(продолжение)*

Когда Умялов кончил и уходил с возвышения, ему снова хлопали. Умялов шел по рядам к своему месту, и на него смотрело много девчонок.

После него говорили от нас Надя Шувалова и Лисенко. Шуваловой хлопали реалисты, хлопали из-за озорства — первая девчонка-оратор на собрании!

В заключительном слове Кленовский бросил свои «загибы» и стал доказывать, что в тех условиях, в которых работал учком, — работали более чем достаточно. Борька даже покраснел от «гражданского

гисва» и расстегнул ворот рубашки. Я почувствовал, что ему собрание теперь верит — не будет же он так волноваться, если учком виноват!..

Большинством голосов была принята резолюция: «Считать работу учкома удовлетворительной». Вторая победа! Наш Кленовский пересплил!

Наступило самое жгучее — выборы...

Телегин для подсчета голосов пригласил из каждого списка по одному человеку. Антон назвал мою фамилию, и я тоже пошел на эстраду.

Приступили к голосованию. Первый список Пушакова. Телегин встает:

— Кто за список номер первый? Прошу поднять руки!

Я начинаю считать... 28 человек. У других тоже. Плясов записывает. Вижу, у Пушакова вытягивается лицо, но улыбается насильно.

Страшная минута! Наш список! Телегин встает:

— Кто за список номер второй?

Много-много рук. Считаю. Считаю рядом... Мешают... Сбиваюсь... начинаю сначала. И вот... 74 руки! Меньше, чем казалось, но ведь еще впереди три списка, голоса разобьются, у нас может быть большинство. Телегин встает:

— Кто за список номер третий?

Неожиданно, но это так! Девчонки! Множество рук. Девчонки помахивают руками, торопят, чтобы скорее считали... 55... 67... 71, 72, 73, 74, 75... 92, 93... Больше нашего. И все девчонки! 95 голосов!

Умялов победил! Аплодисменты. Вой. Крики. Телегин звонит.

— Кто за список номер четвертый?

Рук порядочно, но считаем — 36.

— Кто за список номер пятый?

Чепуха — десяток.

Телегин оглашает результат. «Умяловцы» воют от радости. Качают Умялова. Девчонки хлопают в ладоши. Бабанова и Прокопович кричат «браво!». Слышу, Галя Толмачева объясняет кому-то:

— Это качают Умялова...

Удивленно оборачиваюсь: кто же это у нас не знает такую фигуру?! Вижу, рядом с Толмачевой стоит... Варя!

Телегин звонит... Собрание кончилось, чего же он зовет? Я иду куда-то в сторону, в толпу. Кто-то кричит: «Выборы в школьный суд — оставайтесь!..» Я уже в коридоре... Варя! Возвращаюсь обратно в зал, натыкаюсь на стулья. Здесь ли, не почудилось ли?!

Телегин звонит...

24 сентября, вечер

Сегодня, когда сидел на тригонометрии, решил бесповоротно: в перемену спущусь вниз, увижу Толмачеву с Варей, заговорю с Галей о спортивном кружке...

В перемену спустился на второй этаж, и всё, как думал: Галя и Варя идут вместе по коридору. Чтобы не струсить, чтобы не раздумать, я прямо с лестницы крикнул им в спину:

— Товарищ Толмачева!

Галя обернулась, а Варя (этого я не ожидал) выпустила Галю и отошла в сторону — видимо, чтобы не мешать нашему разговору. Все рухнуло! Но уже поздно — я позвал Галю. Пока я подходил к ней, Варя пошла по коридору дальше. И тут я, задним числом, струсил: а что, если бы она не отошла от Гали, страшно ведь было бы подходить к ним

обем. Я подошел к Гале, малодушно радуясь, что мой план рухнул! Но только начал говорить с Толмачевой, пожалел, что нет рядом Вари, — я ведь собирался говорить с Галей о деле, а не о том, чтобы она познакомила меня с подругой. Чего же мне было бы стесняться Вари?!

— Товарищ Толмачева, — сказал я, — спортивный кружок уже раз собирался, но было мало народу. От вашей третьей «А» никого не было. Хотя объявления уже висят, но вы, пожалуйста, объявите устно в классе. Вы, например, тоже записывались, но не пришли.

У Гали глаза слезные и узкие, как у нашего Лисенко, но только больше и лучше. Галя ответила:

— Объявить я объявлю, но у нас с кружками неблагополучно, товарищ Брусников. В тот четверг, когда объявили спортивный, был еще историко-экономический кружок и музыкально-вокальный. В одно и то же время! Не разорваться же нам!

Я посочувствовал Гале и сказал, что надо устроить так, чтобы кружки не совпадали. А потом спросил:

— Из вашей группы еще записались в спортивный Бабанова и Дымченко. Они тоже «разрываются» между кружками?

— Бабанова в «Б», а не у нас, но передавали, что тогда она пела в хоре, а Дымченко вообще в школе не было. Она после болезни, только второй день, как пришла.

У меня почему-то екает внутри, и я спрашиваю:

— Какая это Дымченко?

А Галя смеется:

— Как какая? Дымченко и Дымченко! Моя подруга. Зовут Варя, а фамилия Дымченко...

— Эта та, что была сейчас с вами? — спрашиваю я.

— Ну да, Варька. А что?

Я делаю равнодушное лицо:

— Просто так. Надо знать, кто будет в спортивном.

— Хотите, я вас сейчас познакомлю? — И закричала: — Варя-а!

— Ну, что вы! Зачем сейчас, — испуганно шепчу я, — как-нибудь в другой раз, успеется!.. Значит, товарищ Толмачева, объявите, пожалуйста, о спортивном...

И ухожу поскорей, поскорей. Так и сказал: «Успеется, как-нибудь!..» Дурак! «Успеется»!!!

Тот же день, вечером

Я зашел за Антоном, и пошли в Реальное на заседание школьного суда.

Есть еще классные суды, а этот — на всю школу один. Выбрали его в конце прошлого собрания, и так как члены ученического совета не могут быть в «школьном», то «умяловцы» в судейские не попали. От нас выбрали Телегина, Настю Саламатову и меня.

Собрание суда не состоялось, так как выяснилось, — чего мы не успели узнать, — что его отложили на вторник. Мы с Антоном поболтались по коридорам. Я люблю Реалку вечером. Прошли по второму этажу. Вот здесь сегодня утром шла Галя с Варей, когда я позвал Галю...

Скоро должно было быть первое собрание ученического совета, и «умяловцы» ходили по коридорам победителями...

Пошли домой. По дороге, когда зашел разговор

об ученическом совете, я сказал Телегину о том, что успех «умяловцев» произошел в первую очередь от самого Умялова, который, несомненно, «пользуется успехом у женщин», а так как гимназисток у нас больше, чем реалистов, то и голосов оказалось больше. На одних действовал Умялов в гетрах, а на других — на маменькиных дочек — то, что он — сын бывшего губернского инженера, которого знают в городе, как и отца Яшмарова. А Зинка тоже был в их списке. А вот для чего некоторые наши реалисты голосовали — не знаю. Понравиться, что ли, девчонкам?

Потом мы разговорились о девочках нашего класса и девочках всей школы. Какие симпатичные, какие нет. Я говорил, конечно, «вообще». И что же! Я узнал, что Антону нравится Галя Толмачева. Вот здорово! Многих он ругал, называл «обезьянами», а про Галю сказал:

— Она хорошая.

Так просто и открыто: «Она хорошая». Счастливый Антошка!

25 сентября, утром

Встал рано, до Реального еще целый час. Вычистил зубным порошком пряжку на кушаке, почистил брюки, штюблеты. Когда чистил, подумал о том, о чем хочу сейчас записать.

Несмотря на то, что магазины сейчас закрыты и никто ничего не покупает, наши ребята как-то чище, опрятнее одеты. Чистятся, моются, причесываются. И не только семиклассники или шестиклассники, которые и раньше — до девчонок — «изображали взрослых», но и младшие, вплоть до 1-й группы.

Кленовский ходит брюки в сапоги (нам теперь разрешают носить сапоги). Это, как новая мода, считается франтовством. Гришин, я заметил, может быть, впервые чистит ногти. Телегин явно что-то творит со своей прической. Но не это важно, а то, что учиться стали как-то лучше. Подтягиваются, знают уроки: стыдно и неловко «плавать» при «них».

На последнем уроке физики я вдруг «заплавал». Костриченко сказал: «Ну что же? Слабовато!» Я улыбнулся развязно, панибратски, будто Костриченко мило, дружески шутил. Но посмотрел на класс, почему-то остановил взгляд на Саламатовой и на Симе Бакст. Они тоже улыбнулись, но иначе, будто конфузясь за меня. Я покраснел отчаянно. Посмотрел на свои начищенные штиблеты, на крепко стянутый кушак — и стало еще хуже... Не интересовался, что мне там Костриченко нарисовал — «уд» или «неуд». Важно было пройти на свое место так, чтобы не встретиться взглядом ни с Саламатовой, ни с Бакст, ни с остальным женским племенем.

Ох, тяжко теперь стало «плавать»!..

8. Гремит рояль...

В конце коридора третьего этажа, рядом с рисовальным залом, была необитаемая комната, заставленная темными, угрюмыми шкафами. Старые, с обвисшими дверцами угрюмцы вынесены. Только три крепких тяжелодумных шкафа остались в комнате. Отличный зеленосуконный стол, по распоряжению президиума ученического совета, принесен из учительской сюда. Три шкафа — три тяжелодумных деревянных великана — расположились по сторонам.

Над столом спустилась лампочка. Раструб абажура налился зеленым светом. На стол тяжело лег мраморный письменный прибор, бойко — красная ручка, деловито — бумага, пресс-папье, карандаши. После всего, завершая, увенчивая, сел за стол Павел Умялов.

И стала комната известной, обитаемой. На двери появилась табличка:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПРИЕМ ОТ 7 ДО 9 Ч. ВЕЧ. ЕЖЕДНЕВНО

Пушаков пододвигает синюю пепельницу Умялову:

— Меня бы, Папа, надо бы провести через заседание ученического совета... Я же не член совета, еще брехать чего будут!

Умялов о синий фаянс медленно тушит окурок. Последний дымок кружится внутри пепельницы.

— Не вижу надобности! — говорит он, бережно приглаживая свой напмаженный прямой пробор. — Кооптировать на работу, вне сомнения, мы можем любого человека. Ты будешь, громко выражаясь, «управляющий делами ученсовета». Управдел! А для этого, вне сомнения, не обязательно быть членом совета.

На плоском, лунообразном лице Пушакова — внимательные глаза. Он хочет понять — что лучше: член совета или управдел? Хорошо бы, конечно, и то и другое... Но настаивать нельзя — спасибо хоть пригласили, хоть это...

Пушаков встает, прохаживается вдоль тяжело-думных шкафов-великанов.

— Ну и ладно, если так...

...Ну и ладно — это не плохо... В сущности,

«управдел» — как бы заместитель председателя. Нет Умялова — скажут: «Обратитесь к Пушакову». И классы и коридоры повторяют: «Обратитесь к Пушакову»... После рождества будут перевыборы совета. И, может быть, после рождества: «Пушаков занят, обратитесь к...»

— Садись, Пушаков, — говорит Умялов, — составим, что делать. План составим.

Черная его голова рассечена прямым пробором. От лампочки на волосах два овальных маслянистых отсвета. Развалившееся на кресле тело. Под столом натужно-сладко тянутся ноги.

...Итак, председатель! Комната, шкафы, стол, «управдел», табличка «...с 7 до 9 ч. вech. ежедневно»... Достойное посещение педагогических советов. Твердо и непоколебимо — в каждую щель школы. Страх, уважение, трепет... Нити классов и учительской пересеклись и натянулись. И в центре нитей — регулируя, управляя — он! Итак, председатель... Пусть Бабанова не думает, что она уж такая, такая... Ляля Прокопович несколько не хуже... Надо пригласиться к Бакст и к этой тихоне Дымченко... Ну еще бы, председатель!..

Пепельные гетры трутся друг о друга — мягко, ласково, будто серые котята.

— Да, план составим... С чего начнем? — Умялов пододвигает лист бумаги. — После скандала на прошлой вечеринке мне пришла мысль, что нам, вне сомнения, надо завести и учредить «ученическую милицию»... То есть отряд учащихся, который будет наблюдать за порядком на вечерах и даже во время учения. У нас не притон и не Городское училище; запиши — назначается товарищ Плясов. Точка. Извести Плясова — я с ним поговорю. Теперь кружки...

Помедлив, поднимается плоское, лунообразное, но озабоченное лицо.

— Жалуются, между прочим, что совпадают кружки, — говорит Пушаков. — Один наезжает на другой.

— Да. Мне это известно. Придется, вне сомнения, — средний палец чешет бровь, — их сократить. Куда нам столько! Одна бумага! Одни фамилии. Кружки плохо посещаются... Шахматно-шашечный — запиши — закрыть, распустить.

— На него как раз, между прочим, некоторые ходят... Лисенко, Феодор, Телегин и еще...

— Пиши: распустить!

Лунообразное непокорно вытягивается.

Успокаивающая рука Умялова через стол ложится на Пушакова.

— Пойми — дикость! Из-за четырех-пяти, даже из-за пятнадцати человек держать кружок? Пусть играют дома. У нас не трактир, чтобы в шашки играть! Пиши: шахматно-шашечный кружок закрывается. Поставить на повестку дня будущего собрания ученсовета. Точка. Еще какие? Спортивный — оставить... Музыкально-вокальный... Пусть поет — оставить... Литературно-художественный, вне сомнения, переименовать в журнальный. Пишешь?

— Пишу.

— ...В журнальный. Передай, пожалуйста, завтра Тутееву, что я ему предлагаю быть редактором нашего школьного журнала. Он раньше, в четвертом классе, принимал участие у Сергея Феодора в журнале. Вне сомнения, знает дело... с головой, первый ученик. Кроме того, этим мы привлечем его бывший список к себе. Пусть зайдет... Дальше...

Историко-экономический... Руководитель из Нароб-
раза — оставить. Еще какой?

— Математико-астрономический! По-моему, за-
крыть!

— Вне сомнения! Одно название. Выдать Гри-
шину за двухлетнее ожидание доклада жетон, в фор-
ме Марса с кольцом.

Пушаков улыбается встречно:

— Между прочим, это Сатурн с кольцом. Марс
только красный!

— Пусть красный. Закрывать кружок! Поставить
на ученовете, чтобы не болтали о том, что зря за-
крывают кружки. Следующее: открывается новый
декламационный кружок. Я уже говорил с препода-
вателем Цоколевым, он согласен руководить. Пи-
шешь?

— Пишу!

— Самообразовательный — закрыть! Это штучки
Телегина, и, вне сомнения, глупые: устраивать шко-
лу в школе — мы и так учимся! Закрывать...

Рослый Умялов двигается в просторах зеленой
от абажура тени, а Пушаков пересаживается на на-
гретое председателем кресло — тут свету больше. Да
и как-то поудобнее... Да, если нет Умялова, скажут:
«Обратитесь к Пушакову»... И классы и коридоры
повторят: «Обратитесь к Пушакову»... И может
быть, после рождества: «Пушаков занят, обрати-
тесь к...»

Пушаков улыбается, мечтательно говорит:

— Мы, между прочим, по ордеру можем выпи-
сать конфет для школы... или шампанского!.. Ар-
бузы!..

Из зеленой тени:

— Арбузов мы не можем выписать, а вот гало-

ши и мануфактуру — конечно. Учащимся, вне сомнения, должны дать в первую очередь. Надо пощупать пути.

...Нити школы пересеклись. И в центре нитей, регулируя, управляя, — Павел Умялов.

Три тяжелодумных шкафа вокруг лампочки. Великаны у вечернего костра.

* * *

Он появился так, будто только вчера ушел. Стройный, гибкий, изящный. Тот же зелено-коричневый френч: плотно на грудь, еще плотнее, теснее в талии и вдруг мягкими складками — вниз. Только на плечах нет погон.

Но усы штабс-капитана Саратовского те же — пушистые, легчайшие... И ноги: отличные танцевальные ноги с шелковым шелестом-шепотом сапог.. Мимо пола, чуть-чуть носком по паркету и — по воздуху, в спиралях, во взлете.

И так же сопутствующе: неизвестное существо снимает шерстяные платки, ватные кофты, шали. На соседнем стуле растет морозный ком одежды. И когда ком становится нисколько не меньше освободившегося от одежды существа — ясно окончательно: человек, женщина, таперша — Людмила Ивановна.

Расставленные пары в предтанцевальном трепете.

Только одно теперь не то: «дамы» — настоящие, в платьях...

— Господа-а! Граждане! (Шелковый шелест сапог.) Берете даму правой рукой за талию... Вот так... ну что же вы? Смелей! Воображайте: гремит

оркестр военной музыки... вы влюблены... (С талий тут же спадают руки.) Эко, право! Что же мне, отдельно учить «дам», отдельно «кавалеров»? Ну хорошо. Не влюблены!.. Просто так... Начинаем! Людмила Ивановна!..

По субботам — вечеринки. Гремит струнным нутром толстоногий, тяжелый рояль...

Начальник учмилиции Плясов с пунцовым треугольником на рукаве размашисто носится от поста к посту, из вестибюля в зал, из зала в коридоры и опять в вестибюль... Поставые милиционеры — ученики осаживают в вестибюле неизвестных парней в проломленных кепках, с пудреной маской лиц, с упрямыми угрями... Осаживают, подталкивают в дверь, на улицу...

А наверху гремит рояль. Бальные платья, перешитые, надставленные — времени Елизаветинской гимназии («Бог знает, как быстро растет моя девочка! Шли два года назад, и теперь уже мало, узко!», — плывут, вспархивают, устало оседают на стулья. Голубые полотенца папиросного дыма поднялись до нетронутой, невзвехренной зоны и, колеблясь, растянулись между стенами. Кое-кто из новых учкомовцев подчеркнуто безмятежно курит: нога на ногу и на отлете, будто забытая, но поглощающая все внимание, паппроса в пальцах. Прижимаясь плечом к белому, бальному:

— Нюся, вы не откажете сегодня с нами посетить «комнату возлияний и песнопений»?

Интересно, куда пустить дым: вниз — он попадет «ей» в лицо; вверх, паровозом — некрасиво; вбок — очень уж по-гимназически — так в умывальнике курят, размазывая дым по стене. Куда же?..

— Нет, не пойду! Там опять бог знает что бу-

дет... Кроме того, Умялов меня не приглашал, — может быть, он не хочет!

— Ну и пусть Пашка не приглашал! Ему неудобно, он «премьер-министр», а Пушаков приглашал, я приглашаю и все наши... Придете?

На отлете — будто забытая, но поглощающая внимание — папироса.

Плясов в последний раз обходит посты. Вестибюль завоеван и свободен от неприятеля. Елисей и Филимон дремотно покуривают у вешалок. У входной двери остается отчаянный, жаждущий подвига и ответственности, милиционер-герой, из младших учеников. Начмилиции, даруя и благословляя, оставляет герою-подвижнику зловеющий охотничий свисток.

— В случае чего, свистни два раза. А я того... обследую еще раз сверху донизу...

Но он ничего не обследует — он уже наверху, около комнаты с тремя тяжелодумными шкафами. Дробь пальцев о дверь. Лязг замка, осторожная щелка.

— Что?

— «Три шкафа».

Осторожная щелка — шире, дверь растворяется.

...Оживает неосвещенная задняя лестница, ведущая сюда, в комнату учкома. На площадках, на фоне ночного окна, загораживая звезды, — тени. Повсвистывание рук о скользкие перила.

— Яшмаров где?

— Тсс!.. В зале, уговаривает Лялю Прокопович... Сейчас идет. А Цоколева пригласили?

Вскрик сзади:

— Я не вижу ступенек... Падаю!

Вскрик, как одеялом, накрыт мягким басовым шепотом:

— Тихе! Держитесь, Симочка, за перила!.. Смотрите, как идет Оля! Смелей!

Издалека, призрачно, через коридоры доносится вальс бального рояля:

Я виде-ел бере-езку,
Скло-они-илась она-а...

Дробный стук. Осторожная щелка в двери.

— Что?

— «Три шкафа».

* * *

По ступенькам вниз, запыхавшись:

— Ты, Галя, говори, а я буду только поддакивать, слышишь!..

— Ладно, ладно... Не отставай, Варька!..

Паркетный раскат у преддверья вестибюля. Дремотная папироса Елисея удивленно падает на пол.

— Что вы, барышни! Они, наверно, как раз уже легли почивать!..

Но синие глаза Толмачевой не отстают:

— Все равно... Все равно — покажите!..

Елисей топчет упавшую папиросу, обходит барьер. У окна прикладывает ладонь к стеклу. За окном темно-лиловый ночной двор.

— Не... не спят еще.

Толмачева и Дымченко расплющивают носы на стекле.

— Где?

— Видите, вот левый флигель — в нем живет теперь Оскар Оскарович.

Толмачева отрывает от стекла ладошку-козырек.
— Нам же Броницына!..

— Вот я и говорю — в левом флигеле Оскар Оскарович, а вот видите, — конец Елисеева пальца сплющивается на стекле, — как раз вправо через двор, в каменном корпусе, в нижнем этаже, проживает Броницына...

По бело-голубым кафелям — к черному ходу, во двор... Елисей бежит следом:

— Вернитесь, барышни!.. Так не пущу, на дворе как раз уже снег, а вы!..

Нетерпеливо возвращаются обратно. Дымченко не может попасть в рукав шубки. Елисей с почти-тельной суровостью, осторожно, будто митры, надевает на вертящиеся головы шляпы: на Толмачеву — белую шапочку, на Дымченко — черную, с полями.

Готово. По скользящим кафелям — к черному ходу. На кафельном раскате глаза цепляют зеркало.

— Варька, чучело, мы перепутали шляпы!

* * *

Толмачева, не мигая, не отрываясь, следит за расхаживающим по комнате Броницыным. Иногда переводит взгляд на Семьянина, который почему-то тоже оказался тут.

Дымченко стоит не двигаясь, неприметно, будто говоря: «Это вот Галка меня привела!» Темные спирали кос в строгой скромности у висков. Но губы хотят что-то произнести, ответить, и от этого то на левой, то на правой щеке появляются ямочки. И, слушая, Дымченко видит: Семьянин положил в пепельницу окурок и не потушил его — сейчас будет противно пахнуть жженой бумагой.

— Вы меня должны понять, — говорит Бронцын, — что я не могу вмешиваться в частную жизнь учащихся. Вечеринка устроена ученическим советом, — следовательно, за нее он и отвечает. Если бы аналогичное происходило по учебной линии, днем, во время занятий, — то другое дело: не вы бы, а я бы к вам пришел!..

— Но среди этой компании... — на синей плиссированной юбке, которую видно в распахе шубки, смущенная Толмачева расправляет складки, — передают, преподаватель Цоколев!..

— С товарищем Цоколевым будет у меня особый разговор, но с ученическим советом должны говорить сами учащиеся — они его выбрали, он перед ними и ответствен... Вы, Толмачева, кажется, сами член ученовета, что же вы?..

— Я, может быть, одна, которая не там... Что я, Василий Андреевич, сделаю? Я, конечно, подниму вопрос на собрании ученовета, но сейчас, сейчас...

— А что сейчас?! Позовите, организуйте учащихся, ну хотя бы Телегина, Кленовского.

— Их нет на вечеринке... Вообще, те, которые могли бы, их нет.

Дымченко нетерпеливо выходит из неprimетности:

— Пока мы, Василий Андреевич, будем говорить, там творится бог знает что! Там, может быть...

Семьянин, молчавший до сих пор, бросает синий карандаш, которым рисовал кружочки.

— Кто в этом виноват? Вы виноваты! Вы выбрали. Новая школа. Но-овая шко-ола! Пусть новая школа. Ученический совет — пусть ученический совет. Но какой совет? Что вы видели от своего сове-

та, кроме вечеринок, темных делишек и распушенности?! Где ученическая общественность, где работа? Ваш совет только компрометирует идею новой школы!

Остывая, будто извиняясь, смотрит на Броницына, на стол, на свои кружочки.

Броницын подходит к Толмачевой:

— Сделаем так. Я сейчас схожу к Оскар Оскаровичу и попрошу его подняться на третий этаж. Я бы это сделал сам, но я с Игнатием Тихоновичем составляю к завтрашнему дню доклад в Наробраз... Но повторяю, Оскар Оскарович пойдет туда, — кося улыбка приподнимает щеку, — не как городской или экзекутор, а просто сделает обход здания (рука — на плечо Толмачевой). Вы почти взрослые люди и поймите меня — скоро уже — старика. Будь это раньше, я бы в два счета и сам, не прося никого, разогнал эту компанию. Но я уважаю новую школу — и не хочу быть ее жандармом. Вы должны сами, — понимаете, сами — это ликвидировать...

9. Октябрьские праздники

Гимнастический зал заперт изнутри. Снаружи двери на одном гвозде косо висит лохматый кусок картона:

ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ РАБОТА ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮБИЛЕЙНОЙ КОМИССИИ ГУБИСПОЛКОМА. ПРОСЯТ В ЗАЛ НЕ ВХОДИТЬ. А ТАКЖЕ НЕ ДЕРГАТЬ РУЧКУ ДВЕРИ И ВООБЩЕ ТИШЕ

Пол зала расчищен. Кожаные прямоногие «кобылы», параллельные брусья и лестницы отодвину-

ты к стене. Тяжелые, неповоротливые тюфяки пухлыми блинами легли друг на друга. В центре зада гигантской колодой карт лежит стопка белого картона, который прислали из губисполкома для плакатов к первой годовщине Октября. Вокруг стопки как бы карточный пасьянс. По пасьянсу, покинув карты-картон, переползают на коленях ожившие валеты и дама. И оттого, что здесь дама, валеты ползают ненужно быстро, весело.

Телегин встает с колен:

— Я сейчас брошу ретроспективный взгляд на наше гениальное искусство.

По подвешенному гимнастическому шесту лезет наверх. У потолка прочно, узлом переплетает ноги и, отдышавшись, командует:

— Гришин-Марсианин!.. Подноси своего Маркса!

Гришин встает с колен, откидывает назад сползающие волосы. Щурясь, примеряя, берет листы. У подножья вздрагивающего шеста он складывает четыре картона в громадный квадрат. Поднимаются с колен, подходят к ребрам квадрата Толмачева и Брусников. Гришин кладет вниз квадрата развернутый журнал с портретом Маркса. Сверху шеста Телегин говорит сумрачно:

— Лоб мал... волосы жидки... не надо, маэстро художник, главное, путать со своими! То Маркс, а то Гришин! Что вы скажете, коллеги, относительно глаз?..

Толмачева становится на колени. Синяя плиссированная юбка, не распуская складок, закрывает ей ноги.

— Глаза хороши, только вот, — она скребет ног-

тем по картону, — расстояние между левым глазом и бровью меньше, чем на правом.

Склоняя голову то вправо, то влево, подходит к шесту Гришин:

— Это не обязательно, чтобы одинаково. Он мог прищуриться — вот бровь и опустилась вниз.

Телегин под потолком горестно вздыхает:

— Если его такой дядя рисовать будет, он не только что прищурится, — оба глаза закроет!.. А борода! Борода не расчесана! Смотри, как на журнале, и что у тебя?..

Потом смотрят плакат, написанный Толмачевой: над силуэтом города поднимается солнце, в лучах его — серп и молот. Замечаний никаких нет, Галю хвалят, а Телегин в своем поднебесье даже в восторге:

— Нет, это замечательно! Нет, вы, Галя, молодчина!.. И вообще вы сегодня такая хорошая, милая, красивая... такая...

Толмачева поднимает брови, и веселые ее глаза округляются.

— С каких это пор Антон Телегин вдруг стал...

Телегин быстро скользит по шесту вниз, ударяет об пол подошвами.

— Не верьте, Галя! — говорит он, идя к своим картонам. — Это я к вам подлизываюсь, чтобы вы были на моей стороне, когда я сейчас покажу мой шедевр!..

Брусников тотчас — стараясь легче, свободнее (рядом Толмачева!) — ползет вверх по шесту.

— Ну, а теперь мы посмотрим! Телегин!.. Каретников, Бричкин... Таранасов... Турусы на колесах — парад алле!

— Вы, главное, Галя, не подумайте, что Мишка

это сам придумал — это от Елифанова нам осталось, поп у нас такой был...

И вот разложен громадный шестикартонный телегинский плакат. В центре — земной шар. Красные материки плывут по голубому океану. Вокруг шара люди: черные, желтые, красные, белые, коричневые.

Гришин и Толмачева заходят к подножью земного шара.

Брусников на шесте затянул ноги узлом. Левой рукой держится за перекладину у потолка, а другая — расправляет в сторону окладистую, несуществующую бороду.

— Скажите, молодой человек, — говорит он, — как вы называли свою, эту самую... как ее... полотно?

Телегин испуганно одергивает рубашку, поправляет кушак, таращит глаза:

— «Мировой Совпарком», господин профессор! Каждая собака, главное, поймет, как только увидит эту картину...

— Вы бы могли не выражаться... здесь, кроме меня, еще дама.

— Извиняюсь, профессор.

— Не кажется ли вам, молодой человек, — Брусников показывает на плакат, — что люди вокруг земного шара напоминают вечернюю беседу за круглым чайным столом?

— Разрешите, профессор, сказать вам, что вы видите не то, что есть... В акустике это называется «абберрацией». Впрочем, возможно, что старческое разжижение мозга не позволяет вам...

— Я попросил бы без намеков! — Брусников стучит кулаком по шесту. — Ваши остроты, молодой человек, еще с первого класса Реального учи-

лица, мне помнится, были неуместны... Что вы скажете насчет «чайного стола»?

— То есть о земном шаре?

— То есть о чайном столе, который вы цинично выдаете за земной шар.

— Я скажу, господин профессор, о земном шаре как таковом. Шар вразумительный. — Телегин бойко показывает и налево и направо. — Вот Азия, вот Африка, вот, главное, Австралия. Вам понятно?..

— Как это, незрелый юноша, можно говорить о земном шаре, когда «народные комиссары» сидят, поджав ноги под шар, как под стол, и когда ваша Африка напоминает пузатый яшмаровский самовар?!

Телегин бросает игру, прерывает Брусникова.

— Кстати, ребята, у нас, в Заречье, болтают, что семейство Яшмаровых удрало за границу! Его же бывшие рабочие говорят. И Зинка что-то давно не ходит... Ясно!..

— Вполне понятно, — доносится с верхушки шеста, — все честные, хорошие мальчики уезжают за границу, здесь же остаются такие экземпляры, как нижестоящий молодой...

Телегин вновь одергивает рубашку, заносчиво мигает глазами:

— Я бы вас попросил...

— Ну, хорошо... Вернемся к вашему так называемому «полотну». Повторяю: ваша Африка напоминает самовар, а земной шар — стол!

— У вас, профессор, бешеное воображение!

— Не говорите мне комплиментов! Я не девушка! Лучше отвечайте: земной шар это или чайный стол? Шар или стол?

— Ну хорошо! — Телегин отчаянно машет ру-

кой. — Ну хорошо!.. Пусть чайный стол! Слышите, эрудит, да, это круглый чайный стол! Но от этого, главное, что меняется? Ничего не меняется! «Мировой Совнарком» остается «Мировым Совнаркомом»... Неужели вы, ученая сухая вобла, будете возражать, если после свершившейся мировой пролетарской революции народные комиссары сядут вместе за чайный стол и опрокинут, главное, на радостях стакашку, другую товарищеского чая?! Возражаете?..

Посвистывая ладонями, Брусников скользят по шесту вниз:

— Если так, то я согласен. Пусть пьют...

* * *

В школе Октябрьский вечер. На сцене вот-вот должны начаться «живые картины».

В узкую щель занавеса виден гудящий актовый зал. Ближе к рампе — желтые блики лиц, дальше, к стене, — передвигающиеся темные головы. Красные полотнища оранжевы у рампы, коричневые у темных стен.

Телегин отступает от щели занавеса.

— Ядовито зал украсили! Гришин, чудило-мученик, главное, о ста аршинах материи мечтал, а пошло всего двадцать девять аршин, и здорово, как у людей!

Брусников, не отрываясь от щели, бубнит в мягкую бумазею занавеса:

— Твой «Совнарком» куда повесили, не знаешь?

— Не видел еще! Завтра пойду искать по городу. Просил у нас в Заречье, но вряд ли. Дома там

плюгавенькие — очень низко висеть над тротуаром будет... — Телегин подходит опять к занавесу. — Ну, что? Марсианин не идет? Что ж это? Сейчас второй звонок надо давать... — Он ныряет в узкую дверь сцены. — Устраивай, а я побегу за Гришиным!

Брусников становится спиной к занавесу. Сцена настороженно пуста. Сейчас она наполнится людьми. Брусников планирует «живую картину»:

«...в «1905 году» — тут встанет «Революция». Согбенная, раздавленная (пусть Толмачева попытается быть грустной), сзади рабочие (Лисенко, Черных, Скосарев)... тянутся к ней, к ее красному плащу. Сзади — победоносный жандарм (не отлетели бы у Плясова усы!)... Две минуты... занавес. Перегруппировка. «1917 год». Керенский — Тутеев в красном плаще (бобрик, главное, бобрик на лбу зачесать!). На пьедестале...»

В боковую дверь разрумяненное, загримированное лицо:

— Скоро, что ли, все уже готово!.. Уже хлопают... «Девятьсот пятому» выходить?

— Сейчас, Галя. Марсианин в гимнастическом зале заново делает молот и косу... Антон пошел за ним. Придет, дадим второй звонок.

«...Керенский на скамейке-пьедестале. К нему протягиваются руки: справа жандарма, слева фабриканта с мешком денег. Кленовский для своего «фабриканта» пусть не забывает придерживать свободной рукой подушку на животе. Затем — помещица... Как же, чтобы не загородить фабриканта и жандарма? Вот так, в три четверти... На «помещице» — Бабановой амазонка, в руках стек. Две минуты... Занавес. Перегруппировка. «Октябрь». В центре скамейка. Толмачева на скамейке. Крас-

ный плащ опустился до полу... Слева рабочий — Скосарев стоит прямо, облокотившись на молот. (Гришин, растяпа, куда-то провалился с молотом!) Крестьянин — Лисенко... Пушистая борода. Спокойствие. Коса в руках (растяпа! И косы нет!)... Красный свет на сцене, красный свет в зале... Спрятанный хор с балкона третьего этажа... Медленно... занавес...»

* * *

Гудит зал. Два звонка остро пререзывают гул. Телегин и Брусников пятятся назад, к занавесу, и в последний раз, перед третьим звонком, оглядывают первую картину.

— Все в порядке, — говорит Антон. — Жандарм зол... Плясов, свирепей гляди! Рабочие и крестьяне лежат исправно. «Революция» сгорбилась.

Брусников нерешительно топчется... Длинные пальцы пенужно теребят мягкие волосы... И вот — к Толмачевой:

— Галя, вам придется, того... снять кофточку и завернуться в красное так, чтобы шея, руки, может, даже плечи были открыты.

Ноготь Телегина царапает мягкую бумагею занавеса. Насупившись, разглядывает ноготь, спрашивает:

— Зачем это?

Брусников бросается к Телегину, к Толмачевой, топчется в середине...

— Понимаете!.. Революция тут дана в символе... А на символе не может быть гимназической кофточки!.. Как вы не понимаете! Впрочем, если Галя не хочет...

У Толмачевой веселые искорки скачут по синим глазам, окантованным гримом.

— «Понимаете», «понимаете»! — передразнивает она. — Какой вы, Миша, смешной! Даже покраснели. Кто сказал, что не хочет? Раз нужно, я сниму... Рабочие, крестьяне, жандармы и режиссеры, отвернись!

— Ну, если для символа... — Телегин поворачивается спиной к сцене. — Не простудилась бы без кофточки... Тут вентилятор недалеко.

Сзади глухо (чувствуется спиной: кофточка сейчас ползет вверх, закрывая лицо, рот...):

— Нянька мне нашлась: «простудится», «вентилятор»!..

Телегин неожиданно про себя повторяет: «Нянька нашлась», «нянька нашлась». И от этого вдруг радостно: «Ворчит на меня, а сама довольна!»

— Можно. Поворачивайтесь!

Набухая в воздухе, летит коричневая кофточка. Телегин ловит ее за рукав. Еще теплая, пахнущая Галей.

«...«Нянька нашлась»... Глупая...»

Красный отсвет плаща теперь ближе подполз к открытой шее, к щекам.

«...«Нянька нашлась»! Хорошая ты моя...»

— Жандарм, позовите Дымченко из комматушки, — быстро говорит Галя. — Она мне поправит плащ... Варя у меня сегодня за камеристку... Варя-а! — кричит она, но Дымченко уже в дверях. — Разложи складки.

Гудит и топает зал. Брусников приоткрывает узкую прорезь занавеса. Плынут лица, пятна... «Вот сейчас, сию минуту, увижу ее... Как только обернусь, так и увижу... Но как...» Жужжит вентилятор.

тор, жужжит зал... Теплое, зябкое — по спине...
«Сейчас, сейчас...»

Повернулся лицом к сцене и первое, что увидел; темные спирали волос на висках. Смешливая ямка на щеке... Светло-коричневое платье, белый передник.

...Вот так же когда-то, только голубая птица банта на ленивой косе... но платье, передник словно те же. Имя?.. Варя... Имя?.. Михаил... Теплая ложка... будто губы... Вот она закалывает булавками красное. Коричневое и белое мешаются с красным. Ткань лежит хорошо, выпукло, но что же может быть не так? Вот ноги...

— Галя! Вам надо закрыть ноги, а то чулки и туфли видны.

— Закройте сами... Варька меня спеленала, я не пошевелюсь...

Брусников нагибается. Под красным исчезают Галины ноги. Недовольный вскрик сзади, за красным:

— Кто это там материю тянет!.. Складки распустились!

«...Вот сейчас... сейчас...»

— Брусников тянет... Кстати, чучело, познакомься... Это — Мяша... Скорее кончайте, замучили!

...Толмачева, сцена плывут, уходят, проваливаются. Вентилятор жужжит рядом, над ухом, и нет ничего, кроме неугомонного ж-ж-ж-ж-ж! И еще ямки щек близко, для него... Теплое в протянутой ладони. Теплое и зябкое...

— Дымченко... Варя...

— Я знаю... будем знакомы — Брусников.

— Будем...

Откуда-то напыженно-басовое, телегинское:

— ...Брусников, Клубников, Крыжовников, Волчьих ягоды. Вот те клюква — пшел вон из класса!.. То есть я пошел давать третий звонок... — И проходя мимо: — Это, Варя, его полная фамилия — запомните!

Брусников в последний уж раз оглядывает сцену.

...Всё ли так?.. Скосарев хватается за плащ Гали... «Будем! будем! будем!..» Тысячу раз «будем!» Жандарм взмахнул плеткой — устоит ли Венка так три минуты?.. На ладони еще щекочущая теплота ее пальцев — вот так руку... будем... знакомы! Свершилось... так просто, совсем просто! Галя, какая ты хорошая!

Гул зала пререзает третий звонок. Лязг колец занавеса. Назад, за кулисы... Жаркое дыхание зала в распахнутый занавес. В распахнутый занавес вертящееся, неожиданно близкое ж-ж-ж... И, проваливаясь в дверь кулис, последнее: «Надо было закрыть вентилятор...»

* * *

Если бы не задержали третью картину — возможно, этого и не было...

Третью картину немилосердно задержали. Выяснилось в последнюю минуту, что в рампе только одна красная лампочка. Так глупо: в арматуру зала ввинчено немало отдельных красных лампочек, а в рампе только одна.

Телегин напропалую бросился вниз по лестнице. Ноги перемахивают с первой ступеньки на шестую, с шестой на двенадцатую — вниз, вниз...

Но Елисей не такой — он неторопливо пошел за ключом, ключ неторопливо, царапая, пролез в сква-

жину. Звонко гудя, словно аккорд рояля, открылся старый замок, привыкший к спокойным движениям Елисея.

В комнате, под лестницей, — слесарно-столярное крошево. Елисей направляется к угловому ящику. Телегин наперерез Елисею — первый у ящика. Руки тащат бумажные гофрированные трубочки. Упираясь, вылезают из них лампочки.

— Белая!

Стеклянный матовый овал.

— Белая!

Не вынимая, только приоткрывая гофрированные гнезда: белая, белая...

— Если, как раз, сверху ящика нет, товарищ Телегин, то не ищите — там все белые... Где бы это они, как раз, могли быть?

Телегин смотрит на косой потолок и как бы сквозь него — в зал.

— Лестницу, старина! Вывинчу штучки четыре из зала. Лестницу!!

...Третью картину задержали... Участники предыдущих картин успели уже разгримироваться и уйти из-за кулис. Если бы они не ушли...

Занавес открыт. Красное море заливает зал и сцену. В красном оцепенении держит море Толмачеву, Скосарева, Лисенко. «Революция» подняла торжествующую руку...

Отдаленный невидимый хор: «...Вста-авай, проклятем за-а...»

Подергиваясь, ползут кольца занавеса, и тотчас — белый свет, гулкие аплодисменты...

За занавесом горит, но уже на ущербе, красный свет. Телегин, нагибаясь, словно собирая грибы, вывинчивает из рамы красные лампочки.

— Красота! И хер, главное, не подкачал! Про свои лампочки я и не говорю — выше похвал!

«Крестьянин» и «рабочий» идут разгримировываться. Скосарев на ходу стаскивает синюю рубаху, Лисенко срывает бороду. Толмачева осовело садится на скамейку.

— Вот устала-а!.. Вместо двух минут — десять стояли, не меньше...

Телегин смотрит лампочку на свет, стучит пальцем:

— Перегорела, проклятая!.. Вы, Галя, главное, стояли прекрасно. Телеграфный столб не мог бы лучше стоять!..

Брусников относит молот и косу в угол.

— Говори точнее: ты бы не мог лучше стоять!

Толмачева зябко кутается в красное.

— Миша, будьте другом, принесите мою кофточку или Варе скажите, — устало показывает рукой, — она там, наверное, в женской...

Брусников из угла — в левую дверь... «Вот сейчас еще... увижу... Заговорю... Потом в зал...»

Но за дверью кулис слышно: упругий стук падающего стула, прерывающееся дыхание и, сквозь шум вентилятора, перазборчивое, разговорное: «бур-бур» («До сих пор не закрыли эту вертушку!»)

Внезапно остро:

«Т а м!»

Пинком в дверь. Но она не открывается. «Дверь заперта оттуда...» Тогда Брусников бежит в щель между боковой стеной и задним полотнищем...

Беспокойно, путаясь в красном, Толмачева — к щели:

— Антон, что с ним? С Мишей? Слышишь? Что там?

Но вот Брусников вернулся, вспрыгивает на подмостки. По щекам мечутся белые, неровные пятна. Но шаг невозмутим, спокоен.

Синие, подгримированные глаза Гали округляются:

— Миша, что там? А?

Молот и косу Брусников несет в другой угол. Но, поставив их там, — снова (невозмутимый, спокойный шаг) обратно.

В ушах звенит Галино: «Что? А?.. Что? А?..»

— Ничего особенного, — говорит он, — ваша Дымченко с кем-то целуется...

10. „3-я Единая Советская...“

В актовом зале на тех же подмостках, где неделю назад ставили «живые картины», стоит под зеленым сукном стол, за которым сидят члены школьного суда.

У председателя суда Скосарева толстые мохнатые брови — от этого лицо строгое, неприступное. Но это только кажется — вдруг улыбка застенчивая, неловкая... Еще бы — на Скосарева новая черная сатиновая рубашка, перед ним зеленый стол, шумный зал, а за спиной — год назад, четыре назад: Городское училище, обгрызенные парты, отцовские перешитые брюки... Но, слава богу, глаза всего зала сейчас — на Брусникове, который рассказывает то, что он видел...

У подмостков сцены раскинулось многоголовое, слушающее. На самых задних местах — непривычно в ряд, по-школьнически, переговариваясь и улыбаясь, не доверяя и любопытствуя. — сидят препода-

ватели. Будто: «Так себе, посидим и уйдем». Бронницын ходит за спинами сидящих. У окна сорвал пожелтевший лист фикуса, поправил палочку, выбросил из горшка окуроч. Покусывая фикусовый лист, медленно, прислушиваясь, идет вдоль стены.

Скосарев, двигая мохнатыми бровями, берет карандаш:

— Это все, что вы... ты видели?

— Все.

— Так... иди (карандаш зачеркивает на бумажке размашистое «Брусни...»). Следующий свидетель товарищ Стефанюк!

Брусников прыгивает с подмостков, и на его месте появляется Стефанюк из 1-й «Б» группы. Маленький, толстенький, он на подмостках, у зеленого стола, держится, как в классе у кафедры. Глаза выпукло — на Скосарева.

— Я, в общем, ничего не видел... А было так... Я давал товарищу Лисенко пояс для «крестьянина». Когда картина последняя кончилась, то я встретил Лисенко в коридоре и спрашиваю: «Где мой пояс?» Он порывлся по карманам и говорит: «Наверное, забыл его за кулисами». И сказал, что он мне его принесет...

Скосарев тербит ухо:

— Стефанюк, ты о деле говори... ты чего там о поясе...

— Ну вот... но я сам пошел за поясом за кулисы (рукой вправо)... вот сюда. Поискал — нету. Решил, что, может, Лисенко в другой уборной переодевался, которая женская. Пошел по стенке (рукой через зеленый стол), вот тут... За подмостками около холстины... узко там...

Многие поднялись с места. И казалось, представлялось живо: Стефанюк идет там, за задним полотнищем.

— ...узко там... Я чуть не дошел до другой уборной, а тут слышу какую-то возню и вдруг столкнулся с товарищем Толмачевой. Она была злая и мне сказала: «Стефанюк, беги скорее, позови ребят!» Я, конечно, сразу же побежал за ребятами и привел Пушакова и Черных, они тут еще в зале были.

Телегин с краю зеленого стола:

— А где в зале?

— Вот здесь, около вентилятора.

— Оба там?

— Нет... Черных стоял около вентилятора, а Пушаков недалеко от двери вот этой женской уборной, и он кричал Черных: «Не надо!», а потом тоже пошел к вентилятору.

— А чего «не надо»?

— Я не знаю, чего «не надо»... Тут я их позвал. Они вошли в дверь этих вот кулис. Я пошел следом, чтобы пояс поискать, а Пушаков закрыл дверь и меня не пустил...

Из зала:

— Врешь!

Карандашом о звонок. Мохнатые, строгие брови сползаются вместе:

— Потом, Пушаков! Дай говорить.

— ...Ничего не вру... меня не пустили. Вот и все... а пояс оказался у Лисенко на брюках, поверх своего надет. Он мне его снял...

— Это неважно, — значит, все?

— Да, все.

— Так... иди на место (карандаш зачеркивает

размашистое «Стефаню...») ...Свидетель товарищ Толмачева!

Легкий прыжок-взлет на подмости. Толмачева, помедлив, захватывает край занавесочной бумагеи и, как бы опираясь на нее, обращается к залу:

— Дело, товарищи, было так.

— Миша, что там? А?

Брусников ненужно несет молот и косу в другой угол. Из угла — снова обратно. И проходя мимо Толмачевой:

— Ничего особенного, ваша Дымченко с кем-то целуется...

Брусников, будто котенок в молоко, тычется в занавес вправо, влево. Распахивает занавес и быстро — чтоб ничего не видеть, не знать — через рамп — в зал...

Галя подхватывает красный плащ и бежит на шум за кулисами. И тотчас оттуда:

— Антон, сюда!

Первое, что они там видят, — кто-то стоит к ним спиной: напыженный затылок, изогнутое серое туловище, широко расставленные ноги. Руки охватывают коричневое платье. Коричневое пойманно бьется. Наплечники белого передника спустились, спутали руки. Изнемогая, вырывается рука, замахивается, но слабо, обессиленно ударяет это серое по лицу. Черные глаза — кругло, беспомощно, умоляюще...

Не помня себя, Галя подлетает к изогнутой серой спине и стучит кулачками дробно-дробно, как в глухую ночную дверь.

Серая спина выпрямляется, но руки еще держат...

Галю неловко толкают в бок. Из-за спины Гали, поверх ее кулачков, — вытянутая рука Телегина. Пальцы его подминают серый воротник этого, стоящего впереди, поудобнее схватываются за него. И — рывок назад. Желто блеснув, по полу катятся две пуговицы. Серое туловище выгнуто назад. Секундное колебание тела — и вот грохотно, разминая раскрашенный фанерный камень, рослый человек падает в него. Торчком ноги в пепельных гетрах.

Умялов проводит рукой по открытой вспотевшей шее. Петли на воротнике ловят пуговицы.

— Ну вот... пуговицы оторвал...

Телегин, не зная, что же дальше, ходит по тесным кулисам... Нога на чем-то скользит, отъезжает в сторону. Телегин нагибается:

— Пуговица... Возьмите!.. — и бросает туда, в провал фанерного камня...

Дымченко, полусидя, полулежа, — на стуле. Слезы скапливаются на приподнятой верхней губе и, не замочив нижнюю, падают на белый передник. Телегин останавливается перед поверженным:

— Пьян, а закрыл две двери!..

И вдруг сразу (будто кто-то сказал: «Посмотри, что у тебя с платьем!») Дымченко спохватывается. Руки бегут по шее, по плечам, по груди. Что-то порванное на коричневом платье соединяется, складывается. Поднимаются белые наплечники.

— Галя, дай була...

Пробег пальцев по красному, и из Галиного плаща вылезают невидимые булавки.

— Галя, уведи... уберите его!.. Ненавижу!..

В фанерном камне оживление. Ноги в пепельных гетрах сгибаются, упираются в пол: под-

няться бы! Камень непоправимо смят, как яичная скорлупа. Разминая хрупкую скорлупу, грузно поднимается Умялов. Пьяно, распахивая руками воздух:

— Кого это? Меня-а?

Телегин заступает дорогу:

— Назад!

— Что-о?

Теперь Антону ясно, что надо делать: увести с вечера, а пока держать, не пускать в зал.

— Галя, позови ребят!

И, толкнув Умялова, снова усаживает его в остатки фанерного камня. Толмачева, придерживая на себе красный плащ, бежит к выходу со сцены. Навстречу — маленький реалистик.

— Стефанюк, беги скорее, позови ребят!

И обратно на шум — не вырвался ли Умялов? Нет, Антон, держа его за плечи, вдавливая в камень — глубже, до пола...

— Пусти, говорю! — упираясь руками и ногами, Умялов пытается подняться. — Я председатель учено-совета третьей, единой, советской...

— Сиди! Не позорь праздник! — Телегин так жмет, что трещит фанера.

На сцене Толмачева снимает красное, надевает кофточку — голые плечи и руки в зябко-жаркой нервной дрожи. Дымченко обхватывает руками Галину шею:

— Как дико это, Галя!..

— Брось хныкать, Варька! Ты бы его стулом, зеркалом... вазелиновой банкой... что под руку попало бы! Закричала бы, когда он полез целоваться... Почему не кричала?

— Я не хотела кричать. Стыдно...

В это время со стороны зала раздается стук в дверь.

— Пришли, надо открыть — у Антона заняты руки!

Толмачева выпускает нагретый край занавесной бумагой:

— Вот и все, товарищи, что я видела.

Она спрыгивает с подмостков. На секунду плисированная юбка — синим, распахнутым веером.

— Следующий... (Скосарев зачеркивает размашистое «Толмач...») Товарищ Пушаков!..

* * *

После объявления перерыва Телегин уходит в пустой класс и там из угла — в угол... Речь обвинителя приготовлена — будто складно и ладно, — но вот куда теперь вставлять показания свидетелей?! Ведь все нарушится, рассыплется... Все равно как булка испечена, а теперь в нее надо изюм вложить! И опять по пустому классу из угла в угол...

Но вот и время: звенит звонок — надо идти.

Зал заполняется. Председатель Скосарев, сведя толстые, мохнатые брови, подергав левое ухо, строго объявляет:

— Со стороны обвинения скажет товарищ Телегин.

— Из показаний свидетелей, обвиняемого и пострадавшей, — начинает Антон, — случай, происшедший в день годовщины Октября, вполне ясен... Умялов не случайно пришел за кулисы. Он, главное,

воспользовался большим перерывом между второй и третьей картиной, когда из-за кулис остальные участники успели уйти... В этом он убедился, заглянув в дверь перед поднятием занавеса, как показала товарищ Дымченко... Увидев, главное, что там одна Дымченко, Умялов, со свойственной ему в этих случаях, расторопностью, попросил своего достойного друга-приятеля Пушакова постеречь у двери кулис...

Из зала:

— Враки!

— ...попросил того же Пушакова понаблюдать и за вентилятором, чтобы его не выключали, чтоб шум был...

Из зала отдельно:

— Че-пу-ха!

Скосарев ожесточенно, пристукивая звонком:

— Умялов и Пушаков, призываю!..

— ...Нет ничего легче, как кричать «враки» и «чепуха»! И Черных и Стефанюк говорят именно о том, что Пушаков стоял на страже, — Тедегин показывает рукой влево, — и у двери и у вентилятора. Обезопасив себя, пьяный Умялов проникает за кулисы и закрывает позади себя дверь на крючок... Из показаний Дымченко и Толмачевой вы помните, что было дальше. Нам с большим трудом, главное, удалось успокоить неудачливого «влюбленного».

По залу ветерок смеха. Но вот голос — заносчиво, дерзко:

— Она сама меня целовала!

Ветерок-смех тает. Скосарев рвет ухо, отчего мохнатая бровь вдруг косит.

— По морде бы тебе, Умялов, раз, другой!.. — вдруг говорит он.

Из зала смешливое:

— Председатель легче!

Возмущенное:

— Председатель, к порядку!

Скосарев звенит у себя над ухом. Сердитая бровь виновато опускается. И поскорее взглядом — к Антону: давай дальше!..

— Случай этот не так уж исключителен в нашей теперешней школьной жизни, — продолжает Телегин. — Исключителен он, главное, может быть, только тем, что получил огласку и дошел до суда. И именно потому, что случай этот почти рядовой, именно поэтому ученическая общественность заинтересована им. Мы, в сущности, судим сегодня не этот случай, а, так сказать, ту атмосферу... Судим ученический совет, который создал ту атмосферу, в которой возможны, главное, такие случаи. Вопрос надо ставить шире. Что представляет собой к настоящему моменту наша внешкольная ученическая жизнь в Третьей Единой Советской Трудовой Школе? Первое — ученическая общественность распалась. Многие кружки распущены или существуют на бумаге...

Длинноногий третьегруппник Сюзин озабоченно-весело поднимается из рядов:

— Извиняюсь, извиняюсь!.. Не все кружки!.. Процвetaют такие, как, например, музыкально-декламационный, где какие-то жеманные барышни-барашки томно декламируют (у Сюзина в трубочку губы, закатились зрачки): «Чуть слышно, беспумно шуршат камыши»... Не пора ли Бальмонта и прочих нытиков послать к черту! Кстати и этих томных барашков!..

Из рядов, не глядя на подмостки, поднимается девочка с перекинутой через плечо косой. И торопливо:

— В предвыборную агитацию список Умялова обещал и журнал, и «тихую читальню», и горячие завтраки... вот! Ничего этого не исполнено — вот!...

— Для «тихой читальни», — кто-то с места, спокойным баритоном, — извольте видеть, не нашлось свободного помещения... Но для кабинета господина председателя ученсовета нашлось моментально!

Скосарев нескладно встает.

— Прошу, безусловно, ребята вас, не переговариваться, — говорит он. — Будут после прения — тогда можно. Товарищ Телегин продолжает...

— Второе... Вся «общественная работа» ученсовета вылилась в устройство еженедельных, а то, главное, и два раза в неделю — вечеринок. Никто не против вечеринок в советской школе, но не таких, которые устраиваются у нас... Безобразия, творящиеся на третьем этаже во время этих вечеринок, с пьянством, главное, с курением, с...

— А вам завидно, «главное»?

— Не приглашают, «главное»?

— Тише, Умялова дети!

— Не передразнивайте, остряки-самородки!

Телегин стоит перед столом, приглядываясь, прислушиваясь. Нет, такие реплики не сбивают — даже лучше. И новые свидетели тоже. «А я боялся, не знал, куда их вставить...» И как только зал смолкает — дальше:

— Заправила ученсовета ведут к тому, что идея единой трудовой школы дискредитируется и в глазах учащихся и в глазах, главное, преподавателей!

И это не удивительно! В школе у нас есть странные личности. Герой сегодняшнего процесса Умялов, например, не так давно был не более не менее как корниловцем, щеголял, главное, голубой ленточкой вкупе с исчезнувшим фабрикантским сыном Яшмаровым! Это ли...

Требовательно вытянутая рука. Но встает Умялов не торопясь, медленно приглаживая пробор на голове.

— Я прошу оратора, как и всех остальных, говорить по существу. А кто какие ленточки носил, вне сомнения, никому не интересно! Может быть, я даже царский флаг на грудь прикалывал — это никому не интересно! Раз я учусь в советской школе, значит, я ее признаю...

Топенько звенит встрепенувшийся звонок, слышится срывающийся голос. Встала, и теперь видны: робкие косы на худеньких девичьих плечах, нежная шея, белесое мерцание прозрачных глаз.

— Я хочу сказать о мануфактуре и галошах... Ученсовет получал, но не на всех галоши и мануфактуру, а сколько — неизвестно... Раздавали по жребии, а некоторые девочки получили и не по жребии... а просто так... Вот я и не знаю... сколько было получено, и, кого ни спрашивала, тоже не знают. Я (согнулась, как стебелек, глаза — на ноги)... не получала ни галош, ни материи, а может быть, мне полагается получить, так как мне очень нужно, я ноги промачиваю и кашляю... Вот я хотела спросить...

В зале что-то дрогнуло. Непонятное подкатилось к горлам, зацекотало носы.

— Позор!

— Ревизию!

— По знакомству! Давно известно... Позор!
Одиночками, группами поднимаются в рядах.
Крушение стульев, излом рядов. Цепляя чужие колени, опираясь на плечи сидящих впереди — мчатся в проход, на подмости:
— Общее собрание! Переизбрать!

* * *

Письмо, переданное через
тов. Толмачеву

Дорогой Миша!

Ваше большое письмо я получила. Вы пишете так, будто уже когда-то писали мне письма или давно меня знаете, а вместе с тем только в тот злополучный вечер... И мне тоже кажется, что я вас знала раньше того вечера! «Чудилы-мученики», как говорит ваш Телегин. Не так ли?!

Я поняла вас тогда. Если бы я была на вашем месте, я, может быть, тоже, не разобрав, в чем дело, не стала бы вникать, что творится за кулисами, и убежала бы...

Вы для меня тоже «не совсем чужой человек», хотя если бы это было с Галей, которая мне ближе всех, или, наоборот, с совсем незнакомым человеком, то я бы вцепилась Умялову в волосы, в глаза — я не знаю, что бы сделала с ним, чтоб его оттащить. Но будь это дело с вами... Я что-то запуталась, — выходит, что близкого и чужого человека я бы защитила, а куда же девать вас? Вы и не «близкий» и не «чужой»...

У меня от общего собрания всю ту ночь звенел в ушах звонок и снились зеленые столы, важно рас-

хаживающие по сцене в серых гетрах... Представляют: на каждой ножке стола серая гетра, как у Умялова! Это было и смешно и страшно... В общем, хорошо, что с «умяловщиной» на этом собрании было покончено.

На хоровом кружке завтра я не буду — я там не занимаюсь, не пою никак. Была только раз — слушала. А буду на историческом. Кончится он в 8½ часов вечера. Сегодня у нас шесть уроков (вы и это знаете!), но после шестого Скосарев будет раздавать буквари для неграмотных. Мы решили пока обучить две улицы, около школы: всю Трифонскую и всю Медянку. Но с букварями недолго, минут десять. Раздавать будут в нашем классе.

В. Д.

11. Он приехал в январе...

Он приехал в январе.

На город навалились морозные жесткие сугробы. Дома, промерзшие от трубы до фундамента, дышали зябко, натуженно, сохраняя остатки угасающего нутряного тепла. В снеговых бугристых улицах шевелились люди, запрятанные в глубь женских шалей, башлыков, валенок, овчин.

Среди притоптанных сугробов стоял, накренившись, продовольственный распределитель. Закутанные располагались длинно, в линейку, как промерзшие дома улиц. Дышали зябко, натуженно, сохраняя остатки тепла.

Шел девятнадцатый год...

На заборах торопливые, косые, черно-красные плакаты: черного адмирала пронзает красный штук.

Внизу крупно: «Все на Колчака!» («Все на» — напечатано красным, «Колчака» — черным: красное пронзает черное).

3-я Советская Школа стоит на углу Красноармейской (бывшей Коммерческой) и Томилинской улиц.

Каждая улица города — на ладошке: вот начало, вот конец. Томилинская же необозрима. Начинаясь крупными домами, улица долго и прямо бежит к вокзалу. Дома в обратный конец бинокля: меньше, меньше, меньше — дома, домики, домишки...

Сугробы закрыли дальние домишки, — белое бугристое легло к вокзалу. Только иней бессонных проводов перескакивает со столба на столб — бежит туда, к вокзалу.

...Из конца Томилинской, посредине дороги, где лежат рельсы, движется крошечный ящик. Пятнадцать долгих минут — и вот ящик равняется с Реальным училищем. Ящик вырастает в конку. Перед конкой бегут две чахлые лошади. Корпусы их прижаты друг к другу. Прижаты до мыльной пены, до пота — срослись будто. Головы разведены в стороны: одна лошадь круто смотрит налево, другая — круто вправо. И кажется, что бежит перед конкой одна жирная лошадь о двух головах...

Это все было... Замели январские сугробы коночные пути, съело девятнадцатогодние коночных лошадей. Белое, бугристое легло к вокзалу. Только иней бессонных проводов перескакивает со столба на столб туда — к вокзалу, только паровозы...

...Далеко паровозное кукареку... В зимний день паровозы кричат так звонко и весело, будто удрали с вокзала и бегут по Томилинской в город... Вот сейчас, из невидимого конца улицы, распугивая домиш-

ки-цыплята, вылетит острогрудый колесный царь...
И вперед! Дым, пар, свист — вперед, на Киевскую!

Только паровозы кричат звонко и весело, будто удрали с вокзала и вот сейчас — дым, пар, свист — через январские сугробы, отыскивая путь по бессонным проводам, — вперед, на улицу Коммуны!

Он приехал в январе...

* * *

Бакенбардный Елисей позади: шаг назад и шаг влево. Останавливается он, идущий впереди, — останавливается косая Елисеева дистанция: шаг назад, шаг влево. Ступеньки, лестницы, коридоры, этажи бывшего Реального училища проходит эта почти-тальная косая — шаг назад, шаг влево...

Вспыхивают электричеством почные пробужденные коридоры. Стекла классов жмурятся на внезапный свет.

Сухая, по-птичьи худощаво-крепкая голова величественно вполуборот:

— А это?

С почтительной косой:

— Тихая читальня-с!

Большие глаза крупной птицы приподнимают веки:

— Почему же «тихая»?

— Не могу знать! Не шумят-с... Тихо читают-с...

Глаза уже не спрашивают — мимо. Через лоб — зачеркивающая черта бровей. Тронулась косая дистанция. На ходу откашливание.

— Гмы-ы!.. Какое тебе жалованье теперь?

— Какое, Всеволод Корнилович, жалованье!..
Бумага!.. Паек-с получаю...

— Гмы-ы!.. Куды ведешь?.. В зал? Чаво доска?.. Что?

— Так точно, вы желали зал посмотреть-с! На доске объясняется, где какой кружок занимается.

— Ну и что?

— Ничего-с, Всеволод Корнилович.

— Каждый день?

— Хотя не каждый, а все равно, народ беспрерывно все вечера толчется... И мы с Филимоном тоже дежурим. Филимона извольте помнить? Жена у него...

Косая невидимо двинется по паркету. Почти-тальная — минует пролет между классами. Не оборачиваясь, под медленный шаг.

— Надоело?

Перед Елисеем в повороте тонкий орлиный нос.

— Так точно, надоело... очень беспокойно-с! — говорит Елисей. — Но не особенно... Иногда, ежели Филимон дежурит, и сам прихожу зря... Лекции для проходящей публики как раз читают... Между прочим, интересно — вижу, в пустой банке проволока самая что ни на есть простая горит... Воздух такой, кислород — дышать очень легко, сам не дышал, конечно, но...

— Зачем тебе... гмы-ы... кислород, проволока, банка?!

— Так точно, ни к чему... глупость... Беспокойство! — Елисей перегибается вперед над дистанцией. — И говорят на лекциях вот, Всеволод Корнилович, что земля была до сотворения мира. Правда ли это или несознательность?

Круто повернута голова птицы — прямая черта бровей раздраженно зачеркивает Елисея:

— Ты порешишь чепуху! Гмы-ы...

— Так-то...

— Если земля была, — двинулись ноги, двинулась дистанция, — зачем было создавать ее?.. Слышал звон, да не знаешь... Дуры!.. Просветился! Гмы-ы... Столы что?..

Елисей смотрит на свои переступающие ноги:

— Это конечно, при вас спокойнее было-с!.. Столы — это как раз на большой перемене кушают, чай пьют, — мучительно всматриваясь в двигающееся по косой прозрачное желтоватое ухо. — Так, Всеволод Корнилович, как же прикажете понять-с — была земля до сотворения... Как же тогда господь бог... и вообще...

Костяшки сухих пальцев, пробарабанивая, проходят стол:

— Чего «кушают», голод ведь?

Елисей зачём-то тоже — к столу. Барабанит. Пугается первого звука, отдергивает руку.

— Безусловно, голод, но учащимся, между прочим, власти как раз отпускают сахар, масло... Хлеб, конечно, черный, но дают. Мало, но дают, хотя черный...

— Воруют?

— Не слышал, Всеволод Корнилович... Барышни тут этим хлопочут.

— Девчонки... Гмы-ы... Разврат есть?

— Безусловно, есть... Раньше очень сильно этим баловались, а теперь не особенно... Не интересуются. Можно даже сказать, совсем нет — ни в какую! Строго... Смеются только промежду собой, ну еще влюбляются... без этого нельзя.

— Школа не для этого! — раздумчиво сходятся брови. — Ты говорил, Умялов. Это какой же, Арнольда Леонидовича сын?

— Так точно, сын того самого... что в белом жилете завсегда ходил.

Последнее «завсегда ходил» — на шажках-перебежке. Елисей покидает дистанцию. За тяжелой желтой дверью — возня, скрежет. В актовом зале вспыхивает тусклая лампочка-сирота. Елисей переводит рубильник. Лампочка тухнет, и тотчас рука гостя, как от солнца, закрывает большие птичьи глаза. Зал пылает всеми люстрами, всеми огнями.

— Куды столько? Жгете теперь зря!..

Невидимо щелкает рубильник. В искрах радужных призм горит только центральная люстра. Елисей занимает почтительную косую: шаг назад, шаг влево.

— Вот и зал... Вы как же, Всеволод Корнилович, проездом или жить в городе рассуждаете?

— Проездом... в Москве был — еду к семье... Гмы-ы... сцена!

— Так точно — сцена.

— Играют?

— Занимаются этим... Ничего — смотреть можно... Красиво, только лампочки под ногами давят у рампы... Ежели войну или забастовку изображают, как раз завсегда лампочки две-три раздавят... хоть плачь. А публике как раз нравится — вместо выстрелов...

Мимо... Мимо...

...Впереди, перед приготовишками, священник Епифанов в фиолетовой шелковой рясе. Справа от него ученический хор.

В стороне от шеренг и хора, на заповедном участке пола, — он сам.

Сзади, на перархической дистанции, — седой Оскар Оскарович и педагоги...

Кончается евангелие. Елифанов читает размашисто, вскидывая и крутя головой... В шеренгах крестятся...

Застоявшийся хор звонко и дружно разрывает воздух «Спаси, господи, люди твоя-а... Победы благоверному императору нашему-у Николаю Алекса-а...».

Он, директор, плавно поднимает руку на грудь, опускает на живот, правое плечо, левое. Величаво поворачивается, и тотчас по всей иерархической дистанции прощально крестятся. Они могут идти... И когда все уходили, в зале оставался только он и портрет императора... Император был в гостях в его трехэтажном училищном царстве...

Рука касается лба. Длинный палец под прямым углом чешет бровь. Резкий поворот на каблуках. Печальные глаза крупной птицы не мигая с секунду рассматривают Елисея.

— Пойдем...

Елисей снова: шаг назад, шаг влево.

— Что заходил — не рассказывай... Туши свет — ча во горит!

— Слушаю-с...

Зал гаснет. Гигантский куб темноты остается за спиной. И тогда у подножья куба, в истоке освещенного коридора, зелено-желто выступает шестиногий аквариум.

Смотря и не видя, но вдруг вспоминая: аквариум! Ноги плавно меняют курс.

— Что? Сдохли?

— Извольте взглянуть... Рыбам что делается — произрастают! У хвостатой рыбки, извиняюсь, — улыбка раздвигает бакенбарды, — даже хвостенята обнаружились... Вот-с!..

Почтительная косая ложится от акварнума к ногам Елисея. Длинный палец барабанит по стеклу.

— Бросают чаю? Следишь? Сам кормишь?

— Бросают, охальники!.. Разве уследишь, но, замечая, вода всегда чистая... Сознаюсь, бумажку другой раз выловишь, но рыба, она ничего — она с бумажкой норовит поиграть, молодые которые... А кормлю сам, как положено.

Рука отрывается от стекла, ворошится в кармане.

— Возьми для рыб. Гмы-ы!.. Корми лучше... Рыба в этом не виновата!

Елисей удваивает дистанцию:

— Зря беспокоитесь, Всеволод Корнилович, они и так сыты!

— Ннуу!

Елисей приближается и вытянутыми, осторожными пальцами берет дензнак. Держит его неприкасаемо, на отлете, показывая: «Это не мне, а рыбам». Дистанция двинулась вниз по ступенькам. На встречном огне — повторно желтеет прозрачное ухо. Так уже было. Елисей спросил, а он... И снова мучительно всматриваясь вдвигающееся желтоватое ухо:

— Разрешите, Всеволод Корнилович, опять же спросить, как же земля до сотворения?.. Понять не могу... не откажите.

— Гмы-ы... пристал!

Ломая дистанцию, сокращая косую, заглядывая сбоку:

— Так точно. Пристал... Верно это или несознательность. Что же, как раз, получается... Бог не создавал землю, как же так?.. — Бакенбарды опережают Елисея. — Ночью вчера думал... Они все так говорят, что нет, а вот как вы, господин директор?

Вы же землю как раз насквозь знаете... Как скажете, так я и поверю... Значит, землю не создавали... раньше, до бога, была... меня тоже не создавал, рыб, Филимона — никого... Так как же бог-то!.. Что же он?!

Спускающийся по ступенькам поворачивается спиной к перилам. Глаза через бакенбарды — в стену. Черта бровей зачеркивает Елисея. Но не зачеркнуть Елисея.

— ...Бог-то, что же он?!

Елисей непозволительно трогает бакенбарды, наматывает волосы на палец. В левой руке, на отлете, дрожит дензнак.

— Гмы-ы... Экий ты, братец, философ! Кому это сейчас нужно? До бога ли земля была или после бога! Чуть! Зачем?! (Бакенбарды суетливо наступают...) Э-э... гмы-ы... Отстань! Бог ничего не создавал. Ни землю, ни человека. Поддай шубу! — Сухие ноги, пристукивая, — вниз по ступенькам. — Подлость и хамство он создал!.. Что я заходил в Репальное — не болтай... Шубу!

Елисей недоуменно топчется на ступеньке, будто ищет потерянную дистанцию: шаг назад, шаг влево. И нет косою, не найти почтительную... Бакенбарды свешиваются через перила:

— Так, значит, господин директор, бога-то вроде... как бы... и нет?!

Внизу к преддверьям вестибюля движется уходящий человек. Пропадает величественное, орлиное, непоколебимое. Просто: пухлый, сгорбившийся, ненужный старичок идет за своей теплой шубкой. Старичок наденет шубку, откашливаясь, прохрипит «гмы-ы», смешно насупит прямую черту бровей, пытаясь зачеркнуть Елисея, коридоры, этажи, весь

мир. Но не зачеркнет, только смешно насупит брови. Еще раз «гмы-ы» — и пропадет в январских сугробах девятнадцатого года.

Елисей скатывается с лестницы мелкими-мелкими шажками. Бакедбарды настигают ненужного старичка.

— Что же вы, Всеволод Корнилович, раньше... давно не сказали это... я бы, может, иначе жил... я верил вам всем, а вы так...

На пиджаке старика, по-стариковски, оттопырен карман. Неприкасаемый дензнак опускается в щель. Письмо в почтовый ящик.

— Нам, Всеволод Корнилович, это ни к чему... Не жалуемся!.. У нас рыба и так сыта... Не жалуемся!

Черта бровей зачеркивает Елисея, коридоры, этажи, мир. Но не зачеркнуть — только смешно насупились брови.

Незачеркнутый Елисей не глядя подает теплую шубку.

— Гмы-ы...

Январские сугробы.

Девятнадцатый год...

Москва
1929—30
и 1966 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вход	5
----------------	---

Первый этаж

1. «Отечеству на пользу» .	17
2. Украшение жизни . . .	20
3. Встать!.. . . .	24
4. Двадцать лет не знаю . .	31
5. Большая перемена . . .	36
6. Господин директор . .	41
7. Гипсовая лилия . . .	46
8. Балльники	52
9. Теплая ложка	59
10. Конец первого этажа . .	66

Второй этаж

1. Молочник, проволока и застенчивость	75
2. Идут уроки	80
3. Закон божий	86
4. Три письма	97

5. Журналы	103
6. Неизвестное	114
7. Канун	122
8. Красный генерал	132
9. Забастовка	139
10. Два письма	160

Третий этаж

1. Программы	171
2. Что-о?!	175
3. Корнилов и Скиапарелли	182
4. Товарищи!	187
5. Дела и люди	191
6. Девчонки	206
7. «3-я Единая»	210
8. Гремит рояль...	230
9. Октябрьские праздники .	241
10. «3-я Единая Советская...»	254
11. Он прпехал в январе... .	266

МОСКВИН

Николай Яковлевич

КОНЕЦ СТАРОЙ ШКОЛЫ

М., «Советский писатель», 1968 г,
280 стр. Тем. план вып. 1968 г. № 107

Художник Д. С. Громан

Редактор Г. А. Блистанова

Худож. редактор Н. С. Лаврентьев

Техн. редактор М. А. Ульянова

Корректоры Л. А. Матасова и

В. В. Сорокина

Сдано в набор 13/XII 1967 г. Подпи-
сано в печать 9/X 1969 г. А-05254. Бу-
мага $70 \times 108 \frac{1}{32}$ № 1. Печ. л. $8 \frac{1}{4}$ (12,25)
Уч.-изд. л. 10,39. Тираж 75 000 экз.
Заказ 336. Цена 34 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10
Отпечатано с матриц типографии
им. Володарского Лениздата, в Туль-
ской типографии Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Ми-
нистров СССР, г. Тула, проспект
им. В. И. Ленина, 109.